

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА  
**ОРДЫНКУ**

**МИХАИЛ  
АРДОВ**

**МИХАИЛ  
АРДОВ**

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА  
**ОРДЫНКУ**

**МИХАИЛ АРДОВ**  
(протоиерей)

**ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА ОРДЫНКУ**



МИХАИЛ АРДОВ  
(протоиерей)

# ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ

*воспоминания  
публицистика*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ИНАПРЕСС  
1998

**ББК 84.Р7**  
**А 79**

*Редактор Н. Кононов*  
*Художник М. Покшишевская*

**ISBN 5-87135-063-1**

**© М. Ардов, 1998**  
**© ИНАПРЕСС, 1998**

# **ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ**



---

*Хорошо тем, кто набрался еще в молодости ума и терпения, чтобы вести дневник. Я дневника никогда не вел и теперь завидую тем, кто может заглядывать в эти заветные тетради. Я безусловно в проигрыше. Вести или не вести дневник — об этом и спорить не стоит. Но все-таки и у нас, людей без дневника, есть свой шанс. Шанс этот — творческие качества человеческой памяти, ведь она, память человека, и тем более память художника, устроена особенным образом. Много хранит она в подземелье своего подсознания. Чтобы она пробудилась, необходим только достаточно сильный, достаточно яркий толчок.*



Михаил Ардов — автор замечательных книг, широко известных и много читаемых, он давно стал для меня одним из лучших прозаиков моего поколения. Судьба была благосклонна к нему. Он вырос рядом с Анной Андреевной Ахматовой. Он запомнил и воспроизвел в своей прозе многое из быта и бытия великого поэта и великого человека. И вместе с тем Ахматова не стала его мономанией. Те, кто читал «Легендарную Ордынку» («Новый мир», 1994, № 4 — 5) и «Цистерну», надеюсь я, согласятся с этим. Память у Ардова исключительная, но вместе с тем это творческая память. Я бы сказал, что это не арифметика, а высшая математика памяти.

«Записные книжки» Ахматовой, вышедшие в Италии по-русски, запустили таинственный механизм Мнемозины. В мифологии древних греков Мнемозина — богиня памяти. От Зевса она родила девять муз, девять камней, на которых и зиждится искусство.

Надо отметить, что Ардов — истинный художник, замечательный стилист. Он пра-

---

*вильно поступил, сделав свою работу дискретной. Он разбил свое повествование на микроновеллы, которые и соответствуют вспышкам творческой памяти художника.*

*В ноябре 1993 года я прожил полторы недели вместе с Иосифом Бродским в Венеции. Это было наше последнее свидание. За исключением сна, мы почти все время были вместе. И вот я вспоминаю знаменитое старейшее кафе Венеции «Флориан», расположенное на Пьяцетте, напротив собора Сан-Марко. На столике — кофе, минеральная вода, разумные рюмки с алкоголем. Разговор зашел о книгах, посвященных Ахматовой.*

*— Лучшее пока что — это то, что написал Миша, — сказал Иосиф.*

*— Ты имеешь в виду «Легендарную Ордынку»? — спросил я.*

*— Конечно.*

*Мне остается добавить, что я думаю точно так же.*

*Евгений Рейн.*



---

## НА ПИРУ МНЕМОЗИНЫ

В начале лета 1997 года со мною произошло чудо. Я получил толстую книгу в белой бумажной обложке, на которой значится: «Записные книжки Анны Ахматовой (1958 — 1966)» (Москва — Torino, 1996).

Не успел я раскрыть этот объемистый том, как в памяти с необычайной ясностью всплыла такая сценка. Ахматова сидит в нашей столовой на Ордынке, перед нею раскрытая книга. На переплете надпись — «Тысяча и одна ночь», но типографского текста там нет. Анна Андреевна записывает имена людей, которые

придут к ней сегодня. А над этим списком — стихотворные строки и еще какие-то записи. Я говорю:

— До чего же сложную работу вы даете будущим исследователям. У вас тут стихи, телефонные номера, даты, имена, адреса... Кто же сможет в этом разобраться?..

Ахматова поднимает голову, смотрит на меня серьезно и внимательно, а затем произносит:

— Это будет называться «Труды и дни».

С того памятного мне разговора протекло тридцать с лишним лет. И вот теперь все, что содержится в объемистой тетради «Тысяча и одна ночь» и во всех прочих записных книжках Ахматовой, вышло из печати.

В одной из них я обнаружил такое суждение:

«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя: 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекачивается в [серiousные] почтенные литературоведческие работы и биографии.

Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать» (с. 555).

Пока я читал записные книжки Ахматовой, память то и дело вырывала из мрака фразы, слова, целые сценки, истории... Вспышки того самого «прожектора» следовали одна за другой, ибо записи делались в конце пятидесятых и в шестидесятые годы. А я тогда был уже взрослым, почти сложившимся человеком и, разумеется, вполне понимал, кто такая Анна Ахматова и что такое ее стихи...

Нечто подобное в свое время испытала и сама Анна Андреевна, это было осенью 1965 года:

«Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы. А я с Н. В. Недоброво с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня даже есть дата...» (с. 672).

То, что я ощутил при чтении записных книжек Ахматовой, не могу назвать «подарками мелкими», ибо через тридцать с лишним лет я вдруг мысленно вернулся домой, на нашу «Легендарную Ордынку», в круг когда-то близких и все еще дорогих мне людей.

*«Анненский об Инне и обо мне» (с. 14).*

Это — история уже известная. Брат снохи Иннокентия Федоровича С. В. Штейн женился на старшей сестре Ахматовой — Инне. Узнав об этом браке, поэт сказал:

— Я бы женился на младшей.

Анна Андреевна не имела обыкновения передавать чьи-нибудь комплименты, сказанные ей. Но этот рассказ я слышал от нее неоднократно.

*«Виташевская — Б9-20-69» (с. 25).*

В пятидесятых годах Ахматова непрерывно занималась переводами. Это был ежедневный

изнурительный труд. После завтрака она удалялась в свою маленькую комнату и не выходила оттуда до трех часов дня...

Переводы ей давали главным образом в Гослитиздате, где дама по фамилии Виташевская заведовала одной из редакций. Я хорошо помню ее, была она довольно полная, уже седая, у нее был муж, лет на пятнадцать ее моложе.

Иногда Анне Андреевне приходилось приглашать эту даму в гости. И я вспоминаю, как Ахматова произносит такую фразу:

— Сегодня вечером придет Виташевская с молодым мужем и будет мне рассказывать, как она — НЕ берет взятки...

*«Т. С. Айзенман Г6-16-99*

*<...>*

*Алигер ДЗ-22-13» (с. 26).*

Татьяна Семеновна Айзенман была довольно близкой приятельницей Ахматовой. Ее фамилия в сочетании с именем Алигер напомнила мне такую сценку.



Как-то вечером в гостях у Ахматовой были обе эти дамы. Некоторое время все трое сидели в маленькой комнате... Но вот дверь открылась, и из нее вышла Татьяна Семеновна. Она уселась на диван и нервно закурила.

— Нет, — произнесла она, — я не могу это слушать...

— А что произошло? — спросила моя мать.

— Вы понимаете, — объяснила Айзенман, — разговор все время такой. Анна Андреевна говорит: «Я вчера написала стихи». Маргарита Осиповна сейчас же произносит: «И я вчера написала стихи». Анна Андреевна продолжает: «Мне позвонили из журнала». Алигер опять вторит ей: «И мне позвонили из журнала...» Ну и так далее...

*«...в Ташкенте в 1943 г. вышла маленькая книжка "Избранное" под редакцией К. Зеллинского (10 000 экз.).*

*Рецензий о ней не было, и ее было запрещено рассылать по стране. Продавалась она*

*в каких-то полузакрытых распределителях. На книге не обозначено место издания. (Запрещали ее, по словам А. Н. Тихонова, 8 раз.)» (с. 29).*

Я эту книжку ни разу в жизни не видел, но кое-что о ней на Ордынке рассказывалось. Когда встал вопрос об оформлении, Анна Андреевна будто бы сказала:

— Отдайте ее Сашеньке Тышлеру, и пусть он нарисует все, что угодно.

Но «Сашеньке Тышлеру» ее, разумеется, не отдали, и книжка вышла с обыкновенным в те годы оформлением. На последней странице обложки был помещен рисунок, изображающий юношу и девушку, которые обнявшись сидят на садовой скамейке и вдвоем читают раскрытую книгу. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала, что Ахматова, указавши ей на это изображение, произнесла:

— А вот это — я с парнем...

*«Алим Пшемахович Кешоков» (с. 36).*

Этого кабардинского поэта привел на Ордынку С. И. Липкин. В те годы Кешоков был большим начальником — занимал пост одного из секретарей обкома партии. Анна Андреевна сказала ему:

— Вы, наверное, очень заняты. Когда же вы пишете стихи?

— По утрам, — отвечал гость с легким акцентом.

*«15 февраля 60 г.*

*Из "Листки из дневника".*

*Чудак? конечно, чудак.*

*...При Осипе нельзя было никого хвалить, он сердился, спорил, был невероятно несправедлив, заносчив, резок. Но если бы вы вздумали этого же человека порицать при нем — произошло бы то же самое, он бы защищал его изо всех сил» (с. 41).*

Однажды я прочел Ахматовой известные строки Мандельштама:

*А еще над нами волен  
Лермонтов, мучитель наш,  
И всегда одышкой болен  
Фета жирный карандаш.*

А потом я спросил у нее:

— Почему Осип Эмильевич так нехорошо пишет о Фете? Анна Андреевна улыбнулась и отвечала:

Просто в ту минуту ему так показалось.

«А. А. Холодович в пятницу 8 1/2 ч.»  
(с. 42).

Александр Алексеевич Холодович был лингвист-востоковед и так называемый «внешний редактор» корейских переводов Ахматовой. Я помню такой рассказ Анны Андреевны:

— Редактор в издательстве сделал в переводе поправку. У меня было: «девушки поют в лад», — а он заменил слово «лад» на слово «такт». В этом месте Холодович написал та-

кое замечание: «“Такт” по-русски и будет — “лад”».

*«3 января 1957.*

*...вечером я у Маршака» (с. 42).*

В те годы Анна Андреевна поддерживала с Самуилом Яковлевичем дружеские отношения. Как-то она была у него в гостях и попросила меня заехать за нею.

Когда я вошел в кабинет Маршака, он что-то рассказывал своей гостье. Я услышал его слова:

— Он воевал во французских войсках в первую мировую войну и очень отличился. Получил дворянство и стал генералом...

(Как я впоследствии понял, речь шла о Зиновии Моисеевиче Пешкове — родном брате Я. М. Свердлова и крестнике М. Горького.) Увидев меня, Ахматова поднялась, и Маршак проводил нас до прихожей. Когда мы вышли на лестницу, Анна Андреевна сказала мне:

— Совершенно выжил из ума. Как можно получить дворянство в республике?..

«1 апреля 1960 (Москва).

Позвонить: Булгаковой, Алигер, Марусе, Коле, Томашевскому» (с. 69).

И опять в памяти целая сценка — звонок В. В. Иванову. На Ордынке утро. Анна Андреевна садится поближе к телефонному аппарату и говорит мне:

— Ребенок, набери мне Кому... Давно я, грешница, с Комой не разговаривала...

Я снимаю трубку, а она диктует мне номер:

— В1-43-72...

И подсказывает, как спросить «Кому»:

— Вячеслава Всеволодовича...

«*“Песня последней встречи” — мое двух-  
сотое стихотворение*» (с. 79).

Помнится, осенью шестьдесят пятого года Ахматовой доставили только что опубликован-

ный французский перевод нескольких ее стихотворений. В их числе была и «Песня последней встречи». Но там эти стихи именовались так: «La chanson de la dernière fois» («Песня последнего раза»). Анна Андреевна с полушутливым возмущением повторила:

— Я им покажу — «Песню последнего раза»!..

Некое недоразумение произошло и при переводе ее стихов «Ночное посещение»:

*Не на листопадном асфальте  
Будешь долго ждать.  
Мы с тобой в Адажио Вивальди  
Встретимся опять.  
Снова свечи станут тускло-желты  
И закляты сном,  
Но смычок не спросит, как вошел ты  
В мой полночный дом.*

Так вот, переводчик решил, что «смычок» — это кличка собаки, которая не залаяла при по-

явлении ночного гостя, и соответствующим образом интерпретировал стихотворение.

И последняя история в этом роде, она бытовала на Ордынке и была известна Ахматовой. В поэме А. Твардовского «Василий Теркин» существуют такие строчки:

*На околице войны —  
В глубине Германии —  
Баня! Что там Сандуны  
С остальными банями!*

В румынском переводе поэмы будто бы есть такая сноска: «“Сандуны” — санитарный отдел Красной Армии».

*«Я давно не верю в телефоны,  
В радио не верю, в телеграф»  
(с. 93).*

Летом 1964 года я купил свой первый транзистор — рижскую «Спидолу». Приемник ра-



ботал на батарейках и мог в любой точке пространства извлекать из эфира голоса и музыку. Для Ахматовой это стало наглядным доказательством того, что весь мир пронизан радиоволнами и беззвучия как такового не существует. Я помню, как Анна Андреевна произнесла:

— Я больше ни одного слова не напишу о тишине...

*«В наше время кино так же вытеснило и трагедию, и комедию, как в Риме пантомима» (с. 109).*

Надобно заметить, что к театру Ахматова никакого интереса не проявляла, а за новинками кинематографа старалась следить. Пока у нее были силы, она посещала наши замоскворецкие кинотеатры. Я помню, ей очень понравился французский фильм «Тереза Ракен» с Симоной Синьоре в главной роли. Столь же благосклонно она отнеслась к английской ленте «Мост Ватерлоо».

В этом фильме она обратила внимание на тот эпизод, где английский офицер просит у своего генерала разрешения на брак. И просьба и согласие — устные.

— Мы к этому не привыкли, — говорила Ахматова. — Нам кажется, что генерал сейчас начнет дышать на печать, потом прикладывает ее...

Вспоминаю, с каким отвращением Анна Андреевна отзывалась о весьма популярном в те годы аргентинском фильме «Возраст любви»:

— Эти смрадные адвокаты...

Вообще же слово «смрадный» было в ее устах наихудшим ругательством по отношению к произведениям искусства. В памяти всплывают ее слова:

— Смрадные Форсайты...

### «СОСНЫ

*Не здороваются, не рады! —  
А всю зиму стояли тут,  
Охраняли снежные клады,  
Вьюг подслушивали рулады,  
Создавая смертный уют» (с. 141).*

Это коротенькое стихотворение записано в нескольких книжках, и еще раз об этом же говорится прозой:

*«Одним соснам решительно все равно — им уже скоро создавать смертный уют»* (с. 401).

Этот «уют» и эти «оклады» — отзвуки поэмы «Мороз, Красный Нос», а ее Ахматова необычайно высоко ценила. Но здесь просматривается и конкретный смысл: Анна Андреевна хотела быть похороненной именно в Комарове.

6 марта 1966-го мы с Бродским шли по кладбищу в Павловске и искали там место для погребения Ахматовой. Узенькая дорожка упиралась в забор, и там росла сосна — высокая, стройная...

— Ну, вот, — сказал я, — тут, пожалуй, можно было бы... Но нет, не пойдет... У Пастернака три сосны, у нас будет только одна...

Бродский грустно усмехнулся:

— Ей бы эта шутка понравилась...

Мы тогда еще не знали стихотворения «Сосны», но мы вспомнили «Приморский сонет», а там ясно говорится именно о комаровском кладбище:

*И кажется такой нетрудной,  
Белея в чаше изумрудной,  
Дорога не скажу куда...*

И мы поехали в Комарово и в конце концов добились того, чтобы Ахматова нашла последнее упокоеание в своем любимом сосновом лесу, в этом самом «смертном уюте».

*«Н. Н. Пунин часто говорил обо мне: “Я боролся с ней и всегда оставался хром, как Иаков”»* (с. 152).

Я полагаю, отнюдь не каждый читатель поймет, что здесь ссылка не на саму Библию, а на Пушкина. В его Table-talk читаем:

*«Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение творца Чильд-*

Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии — и остался хром, как Иаков».

Надобно заметить, что Ахматова знала всего Пушкина наизусть. Я однажды сказал ей:

— А ведь Пушкин скорее москвич, нежели петербуржец. Смотрите, как он рифмует:

*Но, говорят, вы нелюдим;  
В глуши, в деревне все нам скучно,  
А мы... ничем мы не блестим,  
Хоть вам и рады простодушно.*

— Да, — сказала Ахматова, — но...

И она тут же привела мне пример «петербургской» рифмы, но — увы! — я его не запомнил.

Это, пожалуй, требует некоторых разъяснений. Москвичи произносят — «скуШно», «ко-неШно» и т. д., а петербуржцы говорят так, как эти слова пишутся. По этой причине поэт из Петербурга станет рифмовать — «скуЧно» и,

например, «собственноручно», но уж никак не «простодушню».

*О поэме: «Отзывы Б. Пастернака и В. М. Жирмунского (Старостина, Штока, Добина, Чуковской и т. д.)» (с. 183).*

Старостин, Шток...

Драматург Исидор Владимирович Шток познакомился с Ахматовой в Ташкенте, а знаменитый футболист Андрей Петрович Старостин приходился ему свояком, они были женаты на сестрах.

В пятидесятых годах на Ордынку часто заходил наш с братом Борисом приятель, сын писателя Евгения Петрова — Илья. Он — музыкант, литература и поэзия его вовсе не интересовали, но зато он был страстным футбольным болельщиком.

И вот однажды Анна Андреевна со смехом рассказала нам такое:

— Сегодня здесь был Илюша Петров. Я сидела на диване, а он в этом кресле. Ко мне

он вообще никак не относится... Ну, сидит себе какая-то старуха и сидит... И вдруг я при нем сказала кому-то, что вчера у меня в гостях был Шток с Андреем Старостиным... Тут он переменялся в лице, взглянул на меня с изумлением и сказал: «Вы — знакомы со Старостиным?!!»

Уж коль скоро здесь появилось имя Евгения Петрова, я решаюсь упомянуть и Илью Ильфа. Он, как свидетельствуют его «Записные книжки», познакомился с Ахматовой в доме моих родителей — Виктора Ефимовича Ардова и Нины Антоновны Ольшевской. Существует такая запись:

«Я подумал: “Какая у Виктора строгая теща”. Оказалось, что это была Ахматова».

*«Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей и обречены на голод. Число ругательных статей — четырехзначно на всех языках. Зощенко и Ахматова — античные маски (комическая и трагическая)» (стр. 204).*

Я, помнится, говорил Ахматовой о том, что общность ее судьбы с судьбою Зощенко отчасти была предсказана Гоголем в его знаменитом отрывке о двух писателях («Мертвые души»):

«...высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением...»

Но Гоголю не дано было предугадать, что они «станут рядом» не где-нибудь, а у позорного столба.

*«И “вылеп головы кобыльей”, который я видела в последний раз в день смерти Маяковского. Стену бывшей конюшни ломали. Серый двухэтажный особняк надстраивали» (с. 224).*

Ахматова, так любившая и ценившая архитектуру, научила меня замечать изуродованные надстройками старые дома — и в Петербурге, и в Москве. Я запомнил ее фразу:



— Всем домам — надо, не надо — стали надстраивать верхние этажи.

*«Описать же для Вашего издания мое путешествие по Италии (1912 г.), к моему великому сожалению, не позволяет мне состояние моего здоровья» (с. 227).*

Как-то я прочел вслух понравившиеся мне строки из стихотворения Н. Гумилева «Падуанский собор»:

*В глухой таверне старого квартала  
Сесть на террасе и спросить вина,  
Там от воды приморского канала  
Совсем зеленой кажется стена.*

— Это я ему показала, — проговорила Ахматова, вспомнив их совместную итальянскую поездку.

*«Уладить книгу Шверубовичу*

*<...>*

*Звонила Виленкину о Вадиме»*

(с. 258).

Шверубович — настоящая фамилия актера Василия Ивановича Качалова, ее и носил сын артиста Вадим. А Виталий Яковлевич Виленкин — один из «ученых евреев» при Художественном театре — был с этим семейством особенно близок.

В этой связи мне вспоминается, как Ахматова, обучая нас с младшим братом вести себя прилично за столом, рассказывала такую историю. На званом обеде вместе с нею были В. И. Качалов и молодой еще В. Я. Виленкин, который машинально крутил в руках свою вилку. Качалов сказал:

— Виталий Яковлевич, сколько раз я говорил вам, что вилка — не трезубец Нептуна.

Поразительное описание знакомства с Мариной Цветаевой (июнь 1941 года): первый день — встреча на Ордынке, второй — у Н. И. Харджиева. И там — такое:

*«Все идет к концу. Марина, стоя, рассказывает, как Пастернак искал шубу для Зины и не знал ее размеры, и спросил у Марины, и сказал: “У тебя нет ее прекрасной груди”»* (с. 278).

В этих строчках содержится изумительная новелла под названием «Три великих поэта и бюст Зинаиды Николаевны». Один — сказал, другая — запомнила, а третья — записала.

И вот жуткий финал этого отрывка:

*«Мы вышли вместе <...>. Светлый летний вечер. Человек, стоявший против двери (но, как всегда, спиной), медленно пошел за нами. Я подумала: “За мной или за ней?”»*

Я вспоминаю, как еще в пятидесятых годах Ахматова чувствовала постоянную слезку. Иногда, если мы шли по улице, она указывала на шпигов, которые ее сопровождали...

Именно этим объясняется то обстоятельство, что записные книжки появились у нее

лишь в самом конце пятидесятых, во время хрущевской оттепели. Я помню, она говорила нам:

— Вы себе не представляете, как мы жили. Мы не могли завести книжку с номерами телефонов... Мы дарили друг другу книги без надписей...

*«Меж тем, как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциальных графоманов), дело Анненского оживило со страшной силой в следующем поколении. И, если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное “Деду Лиду ладили...” у Хлебникова, своего раешника (шарики) у Маяковского и т. д.»* (с. 282).

Я не мог знать этой записи в шестидесятых годах, но однажды поделился с Ахматовой своим впечатлением о стихах Анненского «Прерывистые строки»:

*Зал...  
Я нежное что-то сказал,  
Стали прощаться,  
Возле часов у стенки...  
Губы не смели разжаться,  
Склеены...*

Я выразил мнение, что это предвосхищает мазохистские поэмы Маяковского. Анна Андреевна отозвалась об Иннокентии Федоровиче:

— Он всех нас содержал в себе. Я первая это заметила.

Попутно вспоминаю то, что Ахматова говорила об известном пассаже из поэмы Маяковского «Во весь голос»:

*Мне  
и рубля  
не накопили строчки,  
краснодеревщики  
не слали мебель на дом.*

*И кроме  
свежевымытой сорочки,  
скажу по совести,  
мне ничего не надо.*

Вот ее слова:

— Он даже не знал, какая это в наше время роскошь — иметь каждый день чистую рубашку.

*«Про “Оду” — совершенно неверное суждение о ее близости к “Вакханалии”. Здесь (т. е. в “Оде”) — дерзкое свержение “царскосельских” традиций от Ломоносова до Анненского и первый пласт полувоспоминаний, там (у Пастернака) описание собственного “богатого” быта» (с. 297).*

Пастернаковскую «Вакханалию» Ахматова активно не любила, а потому так протестует против сравнения этих стихов с ее собственной «Царскосельской одой». Анна Андреевна даже придумала нечто вроде пародии на Пастернака:

*Поросята в столовой,  
Гости, горы икры...*

(В «Вакханалии»:

*По соседству в столовой  
Зелень, горы икры,  
В сервировке лиловой  
Семга, сельди, сыры.)*

*«Владислав Ходасевич (отзыв и из мемуаров. — Селедки)» (с. 359).*

Осенью шестьдесят второго года я впервые прочел книгу Ходасевича «Белый коридор». В частности, он там описывает, как ему пришлось в голодном Петрограде торговать селедкой. (Каждому писателю тогда выдали полмешка селедки, и В. Ф. пошел ее продавать, чтобы купить себе масла.) Приступая к торговле, Ходасевич вдруг увидел, что неподалеку от него из такого же точно вонючего мешка селедку продает Ахматова. При первой же встрече я

пересказал это Анне Андреевне, она выслушала и произнесла:

— Вполне могло быть.

О Н. С. Гумилеве: «...от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.)» (стр. 361).

Году эдак в шестьдесят пятом я пришел домой к Льву Николаевичу, у него сидел гость. Хозяин нас познакомил. Это был Орест Николаевич Высотский, Орик, как его называли люди близкие, и Ахматова в том числе.

А затем произошла некоторая неловкость. Я вспомнил и рассказал, как в 1956 году в Москве старая поэтесса Грушко с изумлением и любопытством разглядывала Льва Николаевича. А Ахматова, узнав об этом, сказала:

— Ничего удивительного. У нее был роман с Николаем Степановичем, а Лева так похож на отца.

Не успел я это произнести, как Орик с горячностью стал возражать:



— Это я похож на отца! Лева совсем на него не похож!.. Почему Анна Андреевна так сказала?.. Все говорят, что я на него похож!..

А Лев Николаевич дипломатично молчал.

*«Вчера была Маруся. Как всегда чудная, умная и добрая. Я никогда не устану любить ее, как она сохранила себя — откуда эта сила в таком хрупком теле» (с. 368).*

Тут надобно заметить, что покойная Мария Сергеевна Петровых была родною племянницей (дочерью брата) самого стойкого и непримиримого к большевикам новомученика — Иосифа, митрополита Петроградского. Однако же об этом родстве она никогда при мне не говорила. Помню, только один раз она посетовала, что Корней Чуковский позволил себе какие-то антиклерикальные выпады.

— В двадцатом веке, — сказала мне Мария Сергеевна, — после того, что сделали в нашей стране с духовенством, это вовсе неуместно.

И еще один свой разговор с М. Петровых я запомнил. Мы обсуждали только что вышедшие из печати воспоминания об Ахматовой, которые написала М. И. Алигер. Там есть некая пространная казенно-патриотическая речь, которую будто бы произнесла Анна Андреевна в присутствии мемуаристки.

— Миша, — сказала мне Мария Сергеевна, — мы с вами оба знали Ахматову. Она не имела обыкновения изъясняться монологами.

*«Среда: Миша, Наташа с дочкой, Люба, Толя. У Виноградовых. 7 1/2 (Машинистка)»*  
(с. 370).

В пятидесятых годах мой отец и Ахматова пользовались услугами машинистки, которая жила в одной из соседних квартир тут же — на Ордынке.

Звали ее, помнится, Мария Исаевна. Работу свою она делала вполне пристойно, но был у нее известный недуг — она крепко выпивала.

И вот я вспоминаю такую историю. Ахматова отдала ей перепечатывать свой печально известный цикл «Слава миру». Там есть такие строчки:

*Как будто заблудившись в нежном лете,  
Бродила я вдоль липовых аллей  
И увидала, как плясали дети  
Под легкой сеткой молодых ветвей.  
Среди деревьев этот резвый танец...*

Так вот, Мария Исаевна вместо «резвый танец» напечатала — «трезвый танец». С учетом ее недуга и применительно к детям это было весьма забавно.

#### *«ЧЕТКИ (продолжение)»*

*Книга вышла 15 марта 1914 г. <...>*

*И потом еще много раз она выплывала из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плах, и украшая собой списки запрещенных изданий <...>, и представляя собою краде-*

*ное добро (издание Ефрона, Берлин и Одесская  
контрфакция при белых (1919)...» (с. 376).*

Помнится, я раздобыл старую книжку —  
«Четки» (Книгоиздательство С. Эфрон, Бер-  
лин). И попросил Анну Андреевну сделать на  
книге надпись, она взяла ручку и начертала на  
титульном листе:

«Милому Мише Ардову мое начало.

Анна Ахматова

30 ноября

1964

Москва».

Отдавая мне книжицу, Ахматова произнесла:  
— Гонорар за это издание я не получила.

«...статья К. Чуковского — “Две России  
(Ахматова и Маяковский)”...» (с. 379).

Как мне помнится, в этой статье автор пи-  
сал, что Маяковский олицетворяет Россию но-

вую, Ахматова — старую. Анна Андреевна иногда шутила по этому поводу и говорила:

— Корней сделал меня ответственной за всю русскую историю.

Ардов на это отзывался так:

— Ну, Бирона и Распутина я вам никогда не прощу.

*«Пусть я и не сон, не отрада  
И меньше всего благодать...»* (с. 381).

Наш приятель Михаил Мейлах замечательно расшифровал эти строки: самое имя “Анна” на древнееврейском языке означает «благодать».

#### **«НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ**

*И ты ко мне вернулась знаменитой,  
Темно-зеленой веточкой повитой...»*

(с. 385).

Как известно, «Поэма без героя» при жизни Ахматовой так и не была полностью опублико-

вана. Однако в списках она распространялась довольно широко. Я запомнил такой рассказ Анны Андреевны:

— Мне позвонила чтица по имени Вера Бальмонт. Она сказала: «У вас есть поэма без чего-то, я хочу это читать с эстрады».

*«Полночные стихи Базилевскому и М. С. Михайлову» (с. 416).*

Натан Григорьевич Базилевский был весьма вальяжный господин и преуспевающий драматург. Его перу принадлежала пьеса под названием «Закон Ликурга», которая шла по всей стране и приносила ему огромный доход. Это была как бы инсценировка романа Т. Драйзера «Американская трагедия», но там более сурово осуждались буржуазные порядки, и с этой целью был соответствующим образом изменен сюжет.

Мне вспоминается, как однажды Базилевский принялся расхваливать стихи Гумилева, и все бы хорошо, но он упорно называл его Нико-

лаем Семеновичем. Мы все пришли в смущение, Ахматова и бровью не повела.

В тот раз или по другому случаю Анна Андреевна рассказывала, как в Ташкенте у кого-то в гостях познакомилась с режиссером Плучеком. Он то и дело падал перед нею на колени и повторял:

— Я люблю вас, Анна Абрамовна.

*«секрета Анне Гу» (с. 430).*

Надо признаться, что Ахматова иногда, очевидно по рассеянности, делала орфографические ошибки. Я хорошо помню, как поморщился старый приятель Анны Андреевны В. М. Жирмунский, когда обнаружил в одном из ее блокнотов свою фамилию, написанную с буквой «д» — ЖирмунДский...

Ахматова рассказывала, что в те годы, когда она училась в Киеве на юридических курсах, у нее было намерение получить место секретаря у какого-нибудь нотариуса. А ее второй муж, В. К. Шилейко, по этому поводу шутил:

— Хороший это был бы секретарь. Подпись была бы такая:

«секлета Анне Гу».

(В те годы Анна Андреевна официально носила фамилию первого мужа — Гумилева.)

И еще одна шутка Владимира Казимировича в ее пересказе:

— Шилейко мне говорил: «От вас пахнет пивом». Я отвечала: «Я пила только шампанское». — «Тогда пейте пиво, и от вас будет пахнуть шампанским...»

*«Первым на корню и навсегда уничтожившим стихи Ахматовой был Буренин в “Новом времени” весной 1911 г. (потом четыре издания его пародий)...» (с. 453).*

Этой пародии на Ахматову я не помню, зато вспоминаю, как Анна Андреевна читала известную эпиграмму Минаева:



*По Невскому бежит собака,  
За ней Буренин, тих и мил...  
Городовой, смотри, однако,  
Чтоб он ее не укусил.*

Вообще же Ахматова всегда говорила, что нельзя обижаться на пародии и эпиграммы, так как это — часть славы.

*«Без десяти три звоню Суркову»*

(с. 460).

Как известно, А. А. Сурков в определенном смысле был покровителем Ахматовой, неизменным редактором ее немногих книг, вышедших в те годы. А потому звонки к нему и от него происходили то и дело. Иногда Сурков сам появлялся на Ордынке, а еще реже Ахматова ездила к нему на прием в Союз писателей, на улицу Воровского.

Я помню, как сопровождал ее во время такой поездки. Когда мы поднялись на второй этаж и подошли к кабинету Суркова, секретарша

сказала нам, что Алексей Александрович занят, но очень скоро освободится. Из-за двери кабинета доносились взрывы хохота и звучал чей-то мощный голос.

Мы с Анной Андреевной вышли из приемной и уселись на диванчик под лестницей в темной части коридора, так, что нам была видна дверь сурковского кабинета.

Вот дверь отворилась, и оттуда, пятясь, вышел возбужденный Ираклий Андроников. Он обворожительно улыбнулся секретарше, кивнул ей и шагнул в темноту коридора. Тут лицо его изменилось: улыбка, оживление — пропали, вместо них появились злость и усталость... Но это длилось лишь несколько мгновений — его глаза быстро привыкли к темноте и разглядели сидящую на диванчике Ахматову. Лицо снова озарилось, и Ираклий рассыпался в приветствиях...

Когда он удалился, Ахматова сказала мне:  
— Запомни. Мы с тобой сегодня видели настоящее лицо Андроникова.

*«Надя, наконец, прописана в Москве. Пусть отдохнет»* (с. 473).

Ахматова очень желала, чтобы Н. Я. Мандельштам вернулась в Москву на постоянное жительство. Я вспоминаю многолетние хлопоты по этому делу. Помнится, А. А. Сурков предлагал даже такой проект — поселить Надежду Яковлевну и Ахматову вместе в одной квартире.

Потом было и еще одно предложение — предоставить самой Ахматовой однокомнатную квартиру... Все это нами обсуждалось, и мне запомнилась замечательная шутка, сказанная очень бойким двенадцатилетним мальчиком Саней, сыном литературоведа И. Л. Фейнберга. Он заявил:

— Ахматову нельзя поселить в однокомнатной квартире, у нее должно быть по меньшей мере две комнаты: в одной — будуар, в другой — моленная. Чтобы было между чем и чем — метаться.

(Как известно, А. А. Жданов в своем печально знаменитом докладе объявил, что творчество

Ахматовой — «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной».)

Мы эту шутку пересказали Ахматовой, и она ее оценила.

*«В статью*

*(Я никогда не была с Моды в кафе или ресторане, но он несколько раз завтракал у меня на rue de Fleurus.) Как непохоже на Хема. Они только и делают, что говорят об еде, вспоминают вкусную еду, и это как-то разоблачает его беллетристику, где все время едят и пьют. («Мемуары повара», — сказал Миша Ардов.)» (с. 479).*

Я очень хорошо помню, что это было. Журнал «Иностранная литература» напечатала тогда «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя. Ахматова была удивлена изменностью этой вещи, тем обстоятельством, что столь одаренный и знаменитый писатель под старость не может вспомнить о Париже времен своей молодости ничего, кроме меню — что и как он ел и пил.

— Неужели, — спрашивала она, — и мои воспоминания о Модильяни производят такое же впечатление?

Мы все, разумеется, ее разуверяли...

Я помню, как шутил по поводу хемингуэевского «Праздника» Анатолий Найман. Он говорил:

— Там как бы целый ряд отдельных новелл. Но все они построены по одному и тому же принципу. Вот Хемингуэй и его жена сидят дома страшно голодные. И нет у них ни копейки, чтобы купить себе еду... И тут к ним приходит приятель, который просто падает от голода... И тут они все втроем как нажрутс!.. А через несколько страниц — опять такая же история.

А наш друг Александр Нилин произнес тогда такую шутку:

— «Праздник, который всегда с тобой» — это просто-напросто деньги.

*«...Снова осень — зеленая трава, даже цветы. Была Лида. Говорили об Ивинской» (с. 501).*

На Ордынке об Ивинской никогда не говорили. Иногда упоминалось имя Зинаиды Николаевны...

Но вот я вспоминаю, как еще при жизни Пастернака, в пятидесятых годах, я был на концерте в Малом зале Консерватории. Кажется, исполняли Прощальную симфонию Гайдна, дирижировал Натан Рахлин...

В антракте я вышел на лестницу и увидел стоящую на площадке даму, несколько тяжеловатую, с длинными и, как мне показалось, крашеными светлыми волосами... Около нее толпилось человек пять, и она была окружена их подобострастным вниманием.

Мне тут же объяснили, что ее зовут Ольга Всеволодовна и что она — возлюбленная Пастернака. Я был этими сведениями несколько озадачен и, вернувшись после концерта домой, на Ордынку, поделился своими впечатлениями с Ахматовой.

Выслушав меня, Анна Андреевна сдержанно произнесла:

— Я — не поклонница этой дамы.

На том разговор и кончился.

*«Понедельник: Просят из Оксфорда мерку» (с. 503).*

Я хорошо помню, как зимою шестьдесят пятого года зашел к Ахматовой. Она тогда была в Ленинграде. Анна Андреевна показала мне письмо из Оксфордского университета, в котором ее просили сообщить размер платья и голы, чтобы сшить докторскую мантию и шапочку. Я спросил Ахматову, послан ли ответ. Она улыбнулась и сказала:

— Я хочу еще немного похудеть...

*«Михаилу Ардову —*

*стихи, которые около четверти века лежали на дне моей памяти, — чтобы для него вновь возник день, когда они стали общим достоянием.*

*Анна Ахматова» (с. 559).*

Эта надпись существует не только в записной книжке Ахматовой, она есть и на том экземпляре «Реквиема», который она мне подарила 19 августа 1964 года. Тут намек на ниже следующие обстоятельства.

Анна Андреевна решилась записать «Реквием» лишь в 1962 году. Но переписывать его она никому не давала, а только разрешила читать свой собственный экземпляр. И все же я эти стихи для себя скопировал — без ее ведома.

Затем «Реквием» переписал у меня мой учитель и почитатель Ахматовой — профессор А. В. Западов. А через несколько дней к Анне Андреевне пришел ее редактор В. Фогельсон. Когда Ахматова показала ему стихи, он объявил, что знает их — видел у Западова.

После ухода Фогельсона у нас с Ахматовой было объяснение, но сравнительно легкое и непродолжительное, так как она уже сама склонялась к тому, чтобы послать эти стихи в какой-нибудь журнал. «Реквием» был тотчас же отправлен в «Новый мир». Там его печатать не



решились, но зато почти все сотрудники переписали его для себя.

Как и следовало ожидать, вскоре после этого «Реквием» вышел в нескольких городах Западной Европы. Анне Андреевне доставили экземпляр мюнхенского издания. И всякий раз, взяв в руки эту книгу в моем присутствии, Ахматова произносила бытующую на Ордынке цитату из Зоценки:

— Минькина работа.

*«Отъезд*

*23 ноября из Ленинграда с Аней. <...>  
Провожаящие. “Перекрестите и меня”»  
(с. 581).*

С детства помню, если мне приходилось надолго расставаться с Анной Андреевной, она, перекрестив меня, говорила на прощание:

— Господь с тобою...

*«(Городецкий хуже, чем мертв.)»*

*(с. 612).*

Ахматова была делегатом Второго съезда советских писателей.

Именно в те дни я слышал, как она рассказывала такую историю:

— Во время обеда я сидела за одним столиком с Евгением Шварцем. К нам подошел Городецкий, поздоровался и сказал мне: «Я хочу представить вам своего зятя» После этого он отошел к другому столику, потом вернулся и говорит: «Мой зять отказывается. Он сказал: “Я не хочу знакомиться с антисоветской поэтессой”». Я безмятежно улыбнулась и говорю: «Не расстраивайтесь, Сергей Митрофанович. Зятя — они все такие». А потом я рассказала это Эренбургу, он спрашивает: «Ну а что же Шварц?» Я говорю: «Он промолчал». — «Жаль, — говорит Эренбург, — я бы такое сказал Городецкому, что он бы костей не собрал...» А я ему говорю: «Это слишком большая роскошь: всякий раз иметь при себе Эренбурга для подобных okazji».

И еще Ахматова говорила про съезд писателей:

— Я там встретила Рину Зеленую, она мне говорит: «Маска, я тебя знаю».

«В *“Известиях”* о плагиате Журавлева» (с. 618).

Это была очень смешная история. В журнале «Октябрь» (1965, № 4) поэт Василий Журавлев опубликовал под своим именем стихотворение Ахматовой из сборника «Белая стая» — «Перед весной бывают дни такие...».

Впрочем, одну поправку плагиатор сделал: вместо строчки «И дома своего не узнаешь» он написал: «Идешь и сам себя не узнаешь».

Скандал произошел довольно громкий, об этом факте сообщила правительственная газета «Известия». Журавлев пытался оправдываться: дескать, он когда-то переписал эти стихи в свою записную книжку, много лет спустя обнаружил их там и принял за свои собственные...

Но на Ордынке рассказывали и более правдоподобную версию. Якобы этот Журавлев вел

поэтический семинар в Литературном институте, там он покупал у студентов стихи, а потом публиковал их под своим именем. А поскольку он платил молодым поэтам очень мало, то один из них решился отомстить ему — продал ахматовское стихотворение как свое собственное. И Журавлев ничтоже сумняшеся его напечатал. Помнится, кто-то позвонил незадачливому плагиатору домой и спросил:

— А гонорар Ахматовой вы уже отправили?

*«...на каком-то литературном вечере Блок, послушав Северянина, вернулся ко мне и сказал: “У него жирный адвокатский голос”»* (с. 622).

А еще Ахматова рассказывала со слов Пастернака такое. Борис Леонидович и Северянин сидели в берлинской пивной. Игорь Васильевич держал в левой руке кружку, а в правой — вилку, на которую была нанизана огромная немецкая сосиска. И он сказал Пастернаку:

— У меня есть сын, его зовут Принц Солнца.

*«...Юлиан Григорьевич исключен из союза, и теряет зренье...» (с. 623).*

В те дни Ахматова очень сострадала Ю. Г. Оксману. У него на квартире был обыск, там было обнаружено и конфисковано множество книг, изданных за границей. Однако же старого профессора не арестовали, а устроили ему классическую советскую проработку, в частности изгнали из Союза писателей.

Я помню, как Анна Андреевна передавала фразу Юлиана Григорьевича, он это произнес на собрании, где его, как водится, дружно осуждали «собратья по перу»:

— Я не могу жить таким образом, чтобы круг моего чтения определял околоточный надзиратель.

*«24 июля.*

*Сегодня Исая завтракает у Саломеи, о чем я узнаю только 6 августа из милого пись-*

*ма самой Соломки. Как странно, что теперь я могу до мелочей представить себе этот завтрак в Chelsea, большую кухню-столовую, беседу обо мне и розы в садике» (с. 642).*

Во время поездки в Англию Ахматова побывала в гостях у своей старинной приятельницы Саломеи Николаевны Андрониковой. Присутствующая при их встрече Аманда Хейт рассказывала, что Анна Андреевна была поражена тем, сколь изысканно угощала их Саломея.

— Как же вы научились готовить такую вкусную еду? — спросила гостя.

— Когда я поняла, что уже не представляю интереса для мужчин как женщина, я стала привлекать их с помощью кулинарного искусства, — отвечала хозяйка.

*«...Как легко и свободно я сказала трем парням из “Лижей”, которые приехали ко мне за стихами: “Все равно не напечатаете...”» (с. 643).*

«Лижн!»! — это было шутливое наименование издававшейся тогда газеты «Литература и жизнь». По тем временам это издание считалось «консервативным» в отличие от более «прогрессивной» «Литературной газеты». Я припоминаю, как Ахматова говорила:

— Некто упрекнул меня в том, что я печатаюсь в ретроградной «Лижн», а не в либеральной «Литературке». А я на это сказала: когда обо мне было постановление ЦК, я не видела разницы между газетами и журналами — все ругали меня одинаковыми словами.

*«Еще три дня июля, а потом траурный гость — август («столько праздников и смертей»), как траурный марш, который длится 30 дней. Все ушли под этот марш: Гумилев, Пунин, Томашевский, мой отец, Цветаева... Назначил себя и Пастернак, но этого любимца богов увел с собою, уходя, неповторимый май 60 года, когда под больничным окном цвела сумасшедшая липа. И с тех пор минуло*

*уже пять лет. Куда оно девается, ушедшее время? Где его обитель...»* (с. 644).

В пятилетнюю годовщину смерти Пастернака я был в Переделкине. Близкая подруга Зинаиды Николаевны, вернувшись от нее, рассказала, что у Пастернаков весь вечер играли в карты. Это меня так поразило, что на другой день, на Ордынке, я передал это Ахматовой. У нее в это время была Н. Я. Мандельштам. Надежда Яковлевна смолчала, Анна Андреевна гневно произнесла:

— Умеют великие поэты выбирать себе подруг жизни.

*«Есть переводы*

*<...>*

*Еврейские: Галкин, Баумволь, Перец Маркиш»* (стр. 653).

Я помню историю с одним из таких переводов. К Ахматовой обратилась сестра какого-то уже умершего еврейского поэта, фамилию ко-



того я не запомнил. Она просила, чтобы Анна Андреевна перевела его стихи. Кажется, он был из репрессированных...

Ахматова пожалела просительницу и действительно перевела какие-то предложенные ей строки. После этого она получила благодарственное письмо от сестры поэта. Оно начиналось такими словами:

«Хотя Вы и перевели всего только одно стихотворение моего покойного брата...»

*«Киев. Предславинская улица. (На юридических курсах.)» (с. 662).*

Всякий раз, когда увеличивались наказания за те или иные преступления, Ахматова неизменно говорила:

— Нам на курсах преподавали закон, известный еще со времен римского права: никогда тяжесть наказания не уменьшала числа преступлений. При Анне Иоанновне фальшивомонетчикам заливали свинцом глотки, и все-таки фальшивой монеты ходило ровно столько, сколько всегда.

А когда заходила речь о всеобщем воровстве, нас окружавшем, Анна Андреевна произносила такую фразу:

— Нас на курсах учили, что у славян вообще ослабленное чувство собственности.

*«В Кисловодске. На Крестовой Горе. Цекубу. Июль 1927. (“Здесь Пушкина...” ) (Качалов, Рубен Орбели, Маршак)» (с. 664).*

Надобно заметить, что Ахматова никогда не была в Художественном театре. О своих беседах с Качаловым в Кисловодске рассказывала:

— Он все время ссылался на эпизоды знаменитых мхатовских спектаклей. Ему и в голову не могло прийти, что я ничего этого не видела...

*«(Перенесла четыре клинических голода: I — 1918—1921, II — 1928—1932 (карточки, недоедание), III — война, в Ташкенте, IV — после постановления ЦК 1946 г.)»*

*(с. 665).*

Неудивительно, что Ахматова запомнила и полюбила шутку Н. П. Смирнова-Сокольского, которую он произнес на Ордынке:

— Это случилось не в тот голод и не в этот. Это было два голода тому назад.

*«Самоубийство Фадеева» (с. 666).*

Я хорошо помню, как это обсуждалось на Ордынке. Говорили о том, что старый друг Фадеева, писатель Юрий Либединский, видел его за несколько часов до рокового выстрела. Фадеев сказал ему такую фразу:

— Я всегда думал, что охраняю храм, а это оказался нужник.

*«...приехала Ирина Федоровна Огородникова с новостями» (с. 668).*

Эта дама была сотрудницей иностранной комиссии Союза писателей и, в частности, занималась тем, что оформляла документы для поездок Ахматовой в Англию и в Италию.

В 1990 году, когда в альманахе «Чистые пруды» были напечатаны мои воспоминания об Ахматовой, Огородникова позвонила мне по телефону, и мы довольно долго с ней говорили. В частности, она рассказала мне об одном эпизоде, который произошел в день похорон Анны Андреевны. Как известно, мы до самого последнего момента никак не могли получить разрешение на то, чтобы выкопать могилу на облюбованном Бродским и мною месте комаровского кладбища. Я, помнится, поехал в Никольский собор на отпевание, а Иосиф остался в квартире Ахматовой, чтобы продолжать хлопоты по телефону.

В это самое время И. Н. Пунина позвонила в Москву Огородниковой, рассказала ей о нашем затруднении и попросила помощи. Ирина Федоровна говорила мне:

— Я стала судорожно соображать, что можно сделать в такой ситуации... И вдруг увидела, что по двору Союза писателей идет А. А. Сурков. Я, как была — без пальто, — выбежала к нему и говорю: «Алексей Александрович,

надо что-то делать... Ахматову уже отпевают в церкви, а разрешения на рытье могилы еще нет...» Сурков взглянул на меня сверху и отрубил: «Я вам — не Арий Давыдович!»

(Для несведущих пояснение: сотрудник Литфонда А. Д. Ротницкий в течение десятков лет занимался похоронами писателей.)

*«Вспомнила маленького соседа в 1951: “Бибика, Длевна!” — и рев.*

*Андревна — так по-замоскворецки звали меня соседи Ардовых (Татьяна Ивановна)»*  
(с. 685).

Это — воспоминание о первом инфаркте.

Татьяна Ивановна Яковлевна жила с нами на одной площадке. Она была портниха и, в частности, шила платья для Анны Андреевны. У нее был маленький внук, который и называл Ахматову «Длевна». Однажды он увидел в окно, как ее выносят из дома на носилках и грузят в автомобиль «скорой помощи». Мальчик залился слезами и все время повторял:

— Бибика, Длевна!..

*«2 декабря 1965. Больница (Москва)*

*<...>*

*Вечером Миша после Лавры и еще озаренный ею» (с. 688).*

Я прекрасно помню тот день — и поездку к Преподобному Сергию, и наш с Ахматовой по этому поводу разговор. После моего рассказа о монастыре она произнесла:

— Это — лучшее место на земле.

*Июль-август 1997.*

*“Новый мир”, № 1, 1998*



---

## **ПОЭЗИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ. ДВА НЕБОЛЬШИХ СЕКРЕТА**

### **1. Об одном из эпитафий «Поэмы без героя»**

В самом начале 1966 года я пришел в Боткинскую больницу, чтобы навестить Ахматову. (Это было одно из последних наших свиданий.) И там, в больнице, между нами состоялся такой разговор. Я сказал:

— Вот прекрасная тема для статьи — «Эпитафий Ахматовой». Подарите это кому-нибудь из ахматоведов.

Она мне ответила:



— Никому не говори. Напиши сам. Я тебе кое-что для этого подброшу.

Она мне так ничего и не «подбросила» — ей оставалось жить всего месяца два. А мне эта тема была, да и остается не по плечу — литературоведение такого уровня, как тут потребен, меня никогда не привлекало. И все же я хочу написать несколько строк об одном из эпитафий «Поэмы без героя».

Поэму я знал с детства, она переписывалась и переделывалась практически на моих глазах. Мне сразу же запомнился и очень нравился эпитаф из совершенно неизвестного мне в те годы поэта Николая Клюева:

*...жасминный куст,  
Где Данте шел, и воздух пуст.*

Когда же много спустя после смерти Анны Андреевны я первый раз прочел клюевское стихотворение «Клеветникам искусства», то с удивлением обнаружил, что она цитирует его неточно. В подлиннике это звучит так:

*Ахматова — жасминный куст,  
Обо́жженный асфальтом серым,  
Тропу утратила ль к пещерам,  
Где Данте шел и воздух густ.*

Итак, Ахматова не просто берет эти строчки, она переиначивает их, кардинально меняет. Клюев в своих стихах отсылает ее в преисподнюю, в смрадные круги Ада, где, конечно же, «воздух густ». Ахматовой в данном случае инферность ни к чему, она все это выбрасывает — асфальт, пещеры, густоту. В результате остается аромат жасмина и некий вакуум, оставшийся после прохождения Данте и заполняемый ею самой.

## **2. О стихотворении «Россия Достоевского»**

Хочу поделиться и еще одним своим наблюдением. На этот раз речь пойдет о той из «Северных элегий», которая называется «Первой» и носит подзаголовок «Предыстория». Стихи эти были мне известны с отроческих

лет, но — увы! — догадка пришла в голову относительно недавно и мне не пришлось проверить ее у самой Ахматовой.

Если не считать совершенно отдельно стоящего заключительного четверостишия, стихотворение можно разделить на три части. Первая — краткое описание Санкт-Петербурга восьмидесятых (или семидесятых) годов прошлого века — до строчки «И пышные гроба: Шумилов старший».

Далее — вторая часть, описание того же города уже в XX веке. Затем изображена (также в современности) Старая Русса, городок, где у Достоевского был дом, где он много работал и даже вывел это местечко под именем Скотопригоньевска в «Братьях Карамазовых». Заключается вторая часть упоминанием Оптиной Пустыни, при жизни Ахматовой совершенно разоренного и оскверненного монастыря, куда когда-то совершали паломничества и сам Достоевский, и Гоголь, и многие другие деятели русской культуры.

Со строки «шуршанье юбок, клетчатые пледы» начинается третья часть, где повествование опять возвращается в век минувший. (Здесь, между прочим, содержится изумительный портрет матери Ахматовой — Ирины Эразмовны). И это возвращение в XIX век завершается полуночной картиной — Ф. М. Достоевский сидит за письменным столом и создает один из своих фантазмагорических шедевров.

Элегию, повторяю, я знал очень давно, и она была, пожалуй, одним из любимых моих стихотворений. Как-то, перечитывая его в очередной раз, я обратил особенное внимание на самое начало, на слова:

*Россия Достоевского. Луна  
Почти на четверть скрыта колоколь-  
ней.  
Торгуют кабаки, летят пролетки...*

Отчего тут такая локальная, абсолютно зафиксированная точка зрения? Ведь стоит отклониться или сделать шаг в сторону, как луна

или откроется целиком или вообще скроется за той же колокольной... И тут меня осенило. Это стихотворение начинается с того же самого, чем кончается. Достоевский сидит ночью за своим письменным столом, а луна светит ему в окно. Итак, повествование после экскурсии в современность возвращается не только в то отдельное время, с которого начиналось, но и в то же самое место — кабинет великого писателя.

Для большей убедительности я могу кое-что к этому добавить. Я неоднократно слышал от разных людей, что Достоевский предпочитал селиться только в таких комнатах, откуда можно было бы видеть церковь. (К сожалению, письменного свидетельства об этом я так и не обнаружил.) Полагаю, это могла слышать и Анна Андреевна.

Уже в семидесятых годах я специально пошел в музей Достоевского, открытый в его последней квартире на Кузнечном переулке, чтобы воочию убедиться, видна ли колокольная из окна его кабинета. (Там неподалеку до сих пор стоит здание Владимирской церкви.) Увы! — ви-

деть колокольню из окон той квартиры невозможно. И тем не менее я от своей догадки не отказываюсь.

Я полагаю, сама Ахматова в той комнате, где когда-то был кабинет Достоевского, никогда не была. (Я не могу себе представить, чтобы Анна Андреевна явилась в чужую квартиру и вторгалась бы в жилые помещения.) Но я отчетливо помню, что самое это место ее весьма интересовало. Ахматова высказывала возмущение по тому поводу, что в ее время никакого музея не существовало, а была обыкновенная ленинградская коммуналка. Я запомнил такую ее фразу:

— Японцы, которые обожают Федора Михайловича, приходят туда и стоят на коленях на грязной лестнице.



---

## Н. В. ГОГОЛЬ: ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Любить Гоголя и в особенности «Мертвые души» меня еще в отрочестве моем приучила Ахматова. Помню, она полушутя называла его «хохлом», а правоту своего мнения подтверждала просто и остроумно. Анна Андреевна указывала на самое начало «Мертвых душ», на третью по счету фразу:

«Въезд его (Чичикова. — М. А.) не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным: только два русских мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания,



относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем». Ахматова говорила:

— Зачем здесь слово «русские»? Почему не написать просто: «два мужика»...

Однажды она при этом заметила:

— А кого он ожидал здесь увидеть? Испанских грандов?

Уже много спустя после смерти Анны Андреевны, перечитывая очередной раз «Мертвые души», я нашел еще одно в некотором роде вещественное доказательство ее правоты.

Чичиков просыпается в доме у Коробочки и глядит в окно на узенький дворик.

«Индейкам и курам не было числа: промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь: свинья с семейством очутилась тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком». Позвольте, какие арбузные корки? Ведь губерния, где проживает Коробочка, по свидетельству автора — «недалеко от обеих

столиц». Так откуда же здесь, в глуши, в деревне — арбузы?

Все очень просто. Стоит Гоголю зажмуриться, как у него перед глазами никакая не Великороссия, а самая натуральная Полтавщина.

Того же мнения был и покойный В. В. Набоков. В своих блистательных заметках о Гоголе он пишет:

«...откуда Гоголю было приобрести знание русской провинции? За восемь часов, проведенных в Подольском трактире, за неделю в Курске, остальное из того, что он увидел в окне почтовой кареты, и добавил к этому воспоминания о своем чисто украинском детстве в Миргороде, Нежине и Полтаве? Но все эти города лежат далеко от маршрута Чичикова».

Ахматова и Набоков натолкнули меня на некоторые существенные размышления над «Мертвыми душами», над личностью и трагической судьбой их гениального автора.

Общий замысел Гоголя известен всем со школьной скамьи. Он собирался писать трило-

гию по примеру «Божественной Комедии»: первый том — «Ад», второй — «Чистилище», третий — «Рай».

Самые имена Данта и Вергилия являются на страницах «Мертвых душ», когда Чичиков, сопровождаемый Маниловым, посещает судебную палату.

«— Вот он вас проведет в присутствии — сказал Иван Антонович, кивнув головой, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зеркалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель».

Но не только план трилогии, вся жизнь Голя в последний период наводит на мысли о великом флорентийце.

Начать с того, что жил он скитальцем, стал как бы добровольным изгнанником родины... Да и «прекрасное далеко», откуда Гоголь глядит на Россию и создает свой истинный шедевр — первый том, — именно Италия...

Гоголь обращает к России страстные речи...

Дант бичует и всю Италию, и свою «вероломную» Флоренцию —

*Он из Ада ей послал проклятье,  
И в Раю не мог ее забыть.*

Гоголь, к удивлению многих, именует свое сочинение «поэмой».

Дант называет свое творение не только «Комедией». В начале XXV песни «Рая» читаем: «Поэма священная, отмеченная небом и землей».

У Данта «Комедия» итальянская и католическая.

Гоголь хочет создать русскую и, конечно, православную.

Но — увы! — тут «дистанция огромного размера».

За спиною Данта — схоластика целого средневековья — университеты Болоньи и Парижа.

У Гоголя — гимназия в Нежине, ну, может быть, отчасти Киевская могилянская академия.

За Дантом — века куртуазной поэзии. У Гоголя лишь «Арзамас» да дружба с Жуковским и Пушкиным.

У Данта — грандиозный, вселенский, космический замысел...

У Гоголя — анекдотец о мертвых душах, подаренный Пушкиным, и хватает его, анекдотца, едва-едва, с натяжкой на первый том.

Дант идет сквозь смрадные круги Ада, на крутизну горы Чистилища, к царственной Беатриче, в самые Небеса, к ангелам, к святым, к Пречистой Деве Марии, к славимому в Троице Богу, к превечной Любви, «что движет солнце и светила»...

Гоголь ведет своего Чичикова мимо изумительных, карикатурно-рельефных Ноздревых и Собакевичей к плоским, картонным Платоановым и Костанжоглам...

А далее куда?..

Тут только многозначительные намеки, туманные обещания — «колоссальные образы», «несметное богатство русского духа», «муж, одаренный божескими доблестями», «глубокая славянская натура», «чудная русская девица»...

(А ведь поди ж ты!.. Сумел ведь заразить этим напыщенным вздором самого Достоевского. Да и как заразил!.. Достоевский наш задним числом и у великосветского арапа Пушкина отыскал все ту же «славянскую натуру» да и «чудную русскую девицу».)

Современники были поражены и шокированы тем важным, менторским тоном, каким нищий скиталец, приживальщик Гоголь поучает русских сановников и помещиков...

А вы читали когда-нибудь, как жалкий изгнанник Дант ругательски ругает итальянских кардиналов?..

Словом, нет для меня больше сомнений: Дант, Дант, несравненный Дант — вот идеал Гоголя, вот его образец для подражания. И при том с великой горечью принужден я признать, что, несмотря на гениальный, уникальнейший дар,

истинного сходства у нашего «Мыколы» с великим флорентийцем совсем немного — разве что нарочитая крючковатость носа...

И еще одно, самое печальное, самое страшное обстоятельство. Оно вполне открывается, если взглянуть на «Мертвые души» с предложенной мною точки зрения. Мы все не раз и не два читали:

«Русь! Русь! вижу тебя из чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчаные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся

в серебряные и ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе: как точки, как значки, не приметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где раз-



вернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силу отразась в глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..»

Пассаж в своем роде изумительный. Но дайте это прочесть любому мало-мальски грамотному христианину, хоть несколько знакомому с аскетикой, и он с определенностью скажет вам: автор этих строк обуян ужасной гордыней и находится в совершенно явной прелести, в прельщении падшими духами, и страшно он окончит жизнь свою, если Господь не поможет ему избавиться от наваждения.

Решительная невозможность да и неспособность осуществить свой столь же великий, сколь и нереальный замысел, свою русскую и православную «Божественную Комедию» становится личной человеческой трагедией Гоголя, быть может, самой существенной причиной болезненного его конца.

А теперь несколько слов о том, собственно, что навело меня на все эти размышления и выводы. Ахматова когда-то говорила, что так называемые лирические отступления в «Мертвых душах» нагляднее всего доказывают, что это именно поэма. В частности, она отмечала знаменитое описание сада в имении Плюшкина:

— Это место не несет никакой смысловой нагрузки, для сюжета оно совершенно не нужно...

Ахматова, как и почти всегда, смотрела в самый корень.

Набоков трактует эти места поэмы совсем по-иному, но зато называет истинный первоисточник развернутых сравнений Гоголя — они «пародируют ветвистые параллели Гомера».

А по моему теперешнему убеждению, Гоголь заимствовал это вместе с общим планом трилогии именно у Данта. (А уж тот, вполне возможно, именно в «Илиаде» и «Одиссее».)

«Ветвистые параллели» — одна из самых характерных черт «Божественной Комедии», и

это бросается в глаза не только любому исследователю, но и вообще читателю высокого класса.

Вот еще одно важное свидетельство Ахматовой, высказанное ею в воспоминаниях о Лозинском:

— Михаил Леонидович говорил мне: «Я хотел бы видеть “Божественную Комедию” с совсем особыми иллюстрациями, чтобы изображены были знаменитые дантовские развернутые сравнения. Например, возвращение счастливого игрока, окруженного толпою льстецов. Пусть в другом месте будет венецианский госпиталь и т. д.»

Заметим, что у Гоголя развернутых сравнений нет больше нигде — они только в его поэме.

В заключение я привожу несколько типичнейших примеров из «Божественной Комедии» и «Мертвых душ». Здесь нет и быть не может текстуальных совпадений, но наличествует нечто более существенное — абсолютная идентичность литературного приема.

Покуда год не вышел из малюток,  
И солнцу кудри греет Водолей,  
А ночь все ближе к половине суток,  
И чертит иней посреди полей  
Подобье своего седого брата,  
Хоть каждый раз перо его хилей, —  
Крестьянин, чья кормушка небогата,  
Встает и видит — побелел весь луг.  
И бьет себя пониже перехвата;  
Уходит в дом, ворчит, снует вокруг,  
Не зная, бедный, что тут делать надо;  
А выйдет вновь — и ободрится вдруг,  
Увидев мир сменившим цвет наряда  
В короткий миг: берет свой посошок  
И гонит вон пастись овечье стадо.  
Так вождь причиной был моих тревог,  
Когда казался смутен и несветел,  
И так же сразу боль мою отвлек:  
Как только он упавший мост приметил.

(Ад. XXIV)

Так с моста на мост, говоря немало  
Стороннего Комедии моей,  
Мы перешли, чтоб с кручи перевала  
Увидеть новый расщеп Злых Щелей  
И новые напрасные печали;  
Он скрылся, чуден чернотой своей.  
И как в венецианском арсенале  
Кипит зимой тягучая смола,  
Чтоб мазать струги, те, что обветшали,  
И все справляют зимние дела:  
Тот ладит весла, этот забывает  
Щель в кузове, которая текла:  
Кто чинит нос, а кто корму клепают;  
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;  
Кто снасти вьет, кто паруса латает, —  
Так силой не огня, но Божьих рук  
Кипела подо мной смола густая,  
На склоны налипавшая вокруг.

(Ад. XXI)

Когда кончается игра в три кости,  
То проигравший снова их берет

*И мечет их один, в унылой злости;  
Другого провожает весь народ;  
Кто спереди зайдет, кто сзади тронет,  
Кто сбоку за себя словцо ввернет.  
А тот идет и только ухо клонит;  
Подаст кому, — идти уже вольней,  
И так он понемногу всех разгонит.  
Таков был я в густой толпе теней,  
Чье множество казалось превелико,  
И, обещая, управлялся с ней.*

*(Чистилище, VI)*

«Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей и ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, по-

дымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на каждом шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше».

«— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприс-

тупную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: “Ребята, вперед!” — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что делается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. “Ребята, вперед!” — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, как воздух, его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную».



« — Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души, — сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и йора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как ни вздымайся против него вся мятущаяся снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

— Мертвые души... — произнесла во всех отношениях приятная дама».

Уже после того, как заметки эти были написаны, мне посчастливилось прочитать превосходную книгу К. Мочульского «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934). Автор весьма далек от моей догадки, да она вовсе и не требуется для полноценного воплощения его замысла, но у Мочульского я нашел множество косвенных подтверждений своего мнения.

Во-первых, Гоголь, несомненно, знал итальянский язык и был буквально влюблен в эту страну.

«Он зовет в Италию Жуковского поклониться красоте. Здесь престол ее. В других местах мелькнет одно только воскраие ее ризы, а здесь она вся глядит прямо в очи своими пронзительными очами» (Мочульский, с. 46).

«В начале 1843 года в Рим приехала А. О. Смирнова, близкий друг Гоголя. Он водил ее по Риму и “хвастал Римом так, как будто это его открытие” (Воспоминания А. О. Смирновой, с. 60).

При этом невозможно предположить, чтобы Гоголь не обратил особенного своего внимания

на многовековой культ Данта в Италии, не знал бы о существовании многих сотен томов комментариев, не видел бы фресок Джотто, Рафаэля, иллюстрации Боттичелли, самой знаменитой фрески Доменико ди Микелино во Флорентийском соборе Санта Мария Новелла, где Дант стоит увенчанный лаврами, держа в руке сияющую раскрытую книгу — свою «Комедию»... Прибавьте сюда мавзолей в Равенне, саркофаг и негасимые лампы при нем... Конечно же, все это Гоголь видел, знал, и он не мог не возмечтать о подобных посмертных почестях.

Во-вторых, с самых юных лет Гоголь твердо верил в свое высокое предназначение. Мочульский приводит строки из письма его к матери, написанного еще из Нежинского лицея:

«Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу отечества, для счастья граждан, для блага жизни себе подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания...» (с. 15).

В-третьих, Гоголь почитал создание «Мертвых душ» делом всей своей жизни. (Дант точно так же относился к своей «Комедии».)

«До нас дошли молитвы, которые читал Гоголь во время работы над “Мертвыми душами”. Приведем один отрывок:

*“Боже, соприсутствуй мне в труде моем, для него же призвал меня в мир... Верю, яко не от моего произволения началось сие самое дело, над ним же работаю во славу Твою. Ты же заронил и первую мысль... Ты же Один даешь силу и окончить, все строя ко спасению моему...”* (с. 67).

В-четвертых, приводя отрывки из некоторых писем Гоголя, Мочульский приходит к тому же самому выводу, что и я.

*«О верь словам моим! Властью высшей облечено отныне мое слово».*

*«Вместе с письмом моим несетя к тебе благословение и сила».*

*«Имей в меня каплю веры, и живящая сила отделится в твою душу».*

На языке аскетики такое состояние называется «впадением в прелесть» (с. 56).

Нечто вроде сюрприза преподнесла мне глава К. Мочульского «Выбранные места из переписки с друзьями». Здесь необходимо сделать пространную выписку.

«Схему гоголевского социального строя можно представить себе в виде иерархической лестницы, на которой расположены должности и сословия: стоящие на одной ступени — отцы по отношению к низшей и дети по отношению к высшей. Снизу вверх из рук в руки передается пламя любви, достигающее, наконец, престола. На нем сидит Монарх, возносящий любовь детей своих к Богу.

“Как это верно, — восклицает Гоголь, — что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальству, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно на виду всех любимый царь Самому Богу”.

<...> Начертание этой лестницы вполне в духе феодального строя. <...> Социальная пирамида острием своим упирается в небо; Царь — посредник между небом и землей. “Власть Государя, — пишет Гоголь, — явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле... Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждующем народе своем, государь приобретает тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству”. Со всех ступеней общественной лестницы волны любви устремляются в одну точку — к трону; и навстречу им стремится столь же сильный поток монаршей любви. В этой встрече двух любовных токов, в концентрации и объединении всего народа в любви и заключается смысл монархии» (с. 99—100).

Монархия! — ведь это название одного из трактатов Данта, где он убедительнейшим образом доказывает, что империя есть государственное устройство наилучшее и учрежденное Самим Богом. Вот одно из наиболее, так сказать, «гоголевских» мест трактата:

«...монарху изначально и непосредственно присуща забота о всех, другим же правителям она присуща благодаря монарху, поскольку их забота проистекает из этой верховной его заботы. <...> Поскольку... монарх среди смертных есть универсальнейшая причина того, что люди живут хорошо, ибо, как уже сказано, другие правители существуют благодаря ему, поскольку благо людей ему особенно дорого. А в том, что монарх в наибольшей степени способен соблюдать справедливость, кто будет сомневаться? Разве лишь тот, кто не понимает, что у монарха не может быть врагов. Итак, после того, как в достаточной мере разъяснена главная посылка, бесспорно, становится ясным и заключение, а именно, что для наилучшего устройства мира непременно должна существовать монархия».

И последнее. Если принять мою точку зрения, если Гоголь хоть в какой-то степени несостоявшийся русский Дант, то акт предсмертного сожжения второго тома «Мертвых душ» выглядит вовсе не таким, как его представляет себе ходульное литературоведение. Нет, в Гоголе не «моралист убил художника», а смиренный христианин воистину страшной ценой победил гордеца-честолюбца...

Не об этом ли, в частности, свидетельствуют самые последние строчки, начертанные почти накануне смерти слабеющей рукою гениального писателя?..

«Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное.

Помилуй меня грешного, прости, Господи. Свяжи вновь сатану таинственной силою неисповедимого Креста.

Как поступать, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок. И страшнее истории всех событий Евангель... »

*Февраль 1988*





---

## ФЕНОМЕН ЗОЩЕНКО

*Сурово его поприще...*

*Гоголь*

Тридцать с лишним лет тому назад холодной апрельской ночью я стоял на пустынной замоскворецкой улице и, волнуясь, поминутно сбиваясь, в буквальном смысле слова объяснялся в любви невысокому человеку с изможденным лицом и потухшим взглядом. Это был мой тогдашний кумир — великий, неповторимый, никем не превзойденный Михаил Михайлович Зощенко. Я восторженно твердил ему, что о нем,

о его творчестве должны быть написаны томы и томы и что я сам со временем непременно напишу о нем...

И вот теперь я как бы выполняю свое давнее обещание. Разумеется, это будет вовсе не тот восторженный лепет, который пришлось выслушать Михаилу Михайловичу той далекой ночью на Большой Ордынке. Но все же в самом главном мое отношение к нему не переменялось: как и тогда, я полагаю, что Михаил Зощенко — великий писатель, величайший русский прозаик XX века.

Надо сказать, что я рос в доме, где был некий культ Зощенки. Мой отец Виктор Ардов был в свое время довольно известным юмористом, но Михаил Михайлович являлся для него абсолютно недосыгаемым идеалом. Он никогда не пытался даже сравнивать свои собственные писания с творениями Зощенко. Вот как отец описывал свое первое знакомство с Зощенкой.

«В середине двадцатых годов к нам в Москву стали приходиться сатирические рассказы не-

известного дотоле писателя Михаила Зощенки, который обитал в Ленинграде. Впечатление от них было потрясающим. Мне шел двадцать шестой год, я тоже пробовал свои силы в жанре фельетона и юмористической новеллы, но сразу же честно признал полное превосходство ленинградского коллеги. <...> Меня буквально ошеломил талант автора «Аристократки», «Бани», «Нервных людей»... Утверждаю, что в русской литературе никогда не появлялось ничего более смешного. <...> В те годы существовал в Москве маленький клуб художественной интеллигенции под название «Кружок друзей литературы и искусства». <...> И вот однажды, явившись в «Кружок», я обнаружил за одним из столов ресторана компанию литераторов, с которыми дружил. Там были Л. В. Никулин, В. П. Катаев и кто-то еще. С ними вместе ужинал неизвестный мне человек лет тридцати, небольшого роста брюнет с внимательным и спокойным взглядом больших черных глаз. Нас познакомили. И я буквально ахнул, когда гость назвал свою фамилию:

— Зощенко.

И произошло это в начале 1926 года...

Я опустился на стул визави с Михаилом Михайловичем и принялся рассматривать его довольно-таки бесцеремонно. Но при этом на лице моем отражался такой глубокий интерес к писателю, такое преклонение перед ним, что Зощенко лишь улыбался...» (В. Ардов. Этюды к портретам. М., 1983, с.76—77)

Это свое преклонение перед Михаилом Михайловичем, восхищение им мой отец сохранил на всю жизнь. В нашем доме Зощенко вспоминался и цитировался постоянно, иногда чуть не целыми абзацами. Моя память и сейчас хранит многое из того, что употреблялось в нашем семейном обиходе.

«Желающие не хотят.»

«Маловысокохудожественные стихи.»

«Пьеса не хуже, чем у Бориса Шекспира.»

«Не то, чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление в наше дело.»

Мне вспоминается такой случай. Как-то на Ордынке, году эдак в 1955 или в 1956 мой старший брат принялся читать вслух поразившее

его место из «Мертвых душ», знаменитое отступление о двух писателях.

«Но не такой удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушно-го восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создання, отведет ему презренный

угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнца и передающие движения незамеченных насекомых; ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания; ибо не признает современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признает сего современный суд и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю; без раздела, без ответа, без участия, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще и горько почувствует он свое одиночество.»

Едва брат кончил читать, как я буквально закричал, что это все пророчески написано про

судьбу Зощенки. Отец не только согласился со мной, но при первой же встрече с Михаилом Михайловичем указал ему на это место у Гоголя. (Мне теперь вспоминается, будто отец перепечатал строки из «Мертвых душ» на машинке и вручил Зощенке. Быть может, листок с этой цитатой и теперь еще пылится в каком-нибудь архиве.)

Надо сказать, что культ Зощенки в нашей семье, так сказать, косвенно поддерживала Анна Ахматова. (Как известно, наша квартира на Ордынке была как бы ее московским домом.) Анна Андреевна относилась к Михаилу Михайловичу по-особенному, как к товарищу по несчастью. За глаза она всегда называла его Мишенькой.

В начале шестидесятых уже годов мне удалось прочесть «Четвертую прозу» Мандельштама, и я с великой радостью отметил те высокие похвалы, которым удостаивает Зощенку Осип Эмильевич. Когда же я заговорил об этом с Анной Андреевной, она мне сказала:

— Как хорошо, что Мишенька знал об этом.



У нее были свои любимые цитаты из Зо-щенки. Точно помню две из них. Моего младшего брата, в те годы актера, она часто называла как одного из героев рассказа «Забавное приключение»:

— Артист драмы.

Другая излюбленная Ахматовой цитата из раннего рассказа «Лялька Пятьдесят». Там повествуется о воре, который влюблен в проститутку с таким именем. В финале он является к ней, говорит, что припас кучу денег, и приказывает выгнать клиента — богатого китайца. И когда тот уходит, вор признается, что денег у него нет, и тогда Лялька Пятьдесят в отчаянье повторяет:

— Кто мне возместит китайские убытки?

В пятидесятые годы Ахматовой приходилось зарабатывать на жизнь тяжким трудом переводами из китайской классики, и тогда эта реплика была для нее весьма актуальна. А когда испортились отношения между Москвою и Пекином, Анна Андреевна ввела в обиход новую редакцию:

— Кто нам возместит китайские убытки?

Зощенко изредка приходил в гости к моим родителям. В один из ранних, довоенных своих визитов Михаил Михайлович почему-то рассматривал альбом с фотографиями. Там между прочим был такой снимок — два атлета в трусиках. Взглянув на фотографию, Зощенко сказал:

— Этот думает: дай, думает, сниму штаны...

И этот: дай, думает, и я сниму...

Отец запомнил это и иногда рассказывал. Вот еще одна замечательная реплика Зощенко. Перед самой войной умер их какой-то общий знакомый (фамилию я забыл). Так вот, когда война разразилась, Михаил Михайлович сказал отцу:

— А NN умер — и не прогадал.

Отец рассказывал о невероятной, неправдоподобной славе Зощенко, которая пришла к нему в тридцатых годах. В этой связи вспомнились два случая со слов самого Михаила Михайловича.

Зощенко ехал из Москвы в Ленинград (а может быть, и в обратном направлении.) В купе ему досталось верхнее место, а нижние были заняты каким-то молодым человеком и девушкой. Лежа наверху, Михаил Михайлович вынужден был слушать, как среди ночи молодой человек уговаривал спутницу уступить его домогательствам, выдавая себя за писателя Зощенко...

Как известно, отец Михаила Михайловича был художником. И вот как-то в ленинградском комиссионном магазине писатель увидел картину отца. Ему захотелось купить холст, но цена была непомерно высокая. Когда же он осведомился у продавца, отчего просят так дорого, тот отвечал:

— Так ведь это — Михаил Зощенко...

В этом случае его собственная слава перешла на его давным-давно умершего родителя.

И Ахматова и Ардов всегда выражали свое восхищение тем, как Зощенко читал свои рассказы с эстрады. (Анна Андреевна назвала его «гением этого дела».) Отец вспоминал, что

Михаил Михайлович читал свои рассказы мрачновато, без тени улыбки, а зал в это время буквально корчился в конвульсиях от смеха. Вот рассказ отца, записанный мною дословно.

«Как-то на совместном выступлении я спросил Михаила Михайловича, отчего он так мрачно читает. На это он мне сказал: “Когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валяюсь от смеха на диван. Но раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь”. Однажды, — продолжал отец, — я заметил, во время чтения какого-то рассказа Зощенко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его: “Почему вы улыбались?” Он отвечал: “Просто я забыл это место.”

Зощенко и сам полностью подтверждает все это. В книге «Перед восходом солнца» есть небольшой этюд «Ночью», вот как там описывается творческий процесс.

«Набросав план, я принимаюсь писать.

Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец,

хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.

Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.

Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит.

От смеха я чувствую боль в животе. <...>

Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.

Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро его написал.

Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда я буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать.»

Это признание чрезвычайно важное. Удивительно, как сам Михаил Михайлович при его острейшем уме и все врачи — последователи, как Павлова, так и Фрейда, которые пользовали его многие годы, не смогли дога-

даться, что причина той самой хандры, которая мучила писателя неотступно, именно в этом и заключалась. Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов, пьесы, повести... Сколько же времени он провел в конвульсивных содроганиях от гомерического хохота?.. Неужели непонятно, что расплатою за часы этого безудержного веселья могут быть только периоды столь же мрачной меланхолии?..

Зощенко — великий русский писатель. И это доказывается не только восхитительной его прозой, но и тем, что он, как истинно великий русский писатель, в конце концов не удовлетворился своим успехом у читателя, своей баснословной прижизненной славой. Он, по примеру своих предшественников, решил спасти человечество, страждущее, по его мнению, от психозов и неврозов.

Как-то я заговорил с Ахматовой о склонности великих наших писателей на вершине славы переходить от литературы к прямому проповедничеству. Она мне сказала:

— По-моему, это только у русских. Коля Гумилев называл это — «пасти народы». Он мне говорил: «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы».

Разумеется, Зощенко в этом отношении — случай совсем особенный. Восхищаясь им с ранней юности, даже с отрочества, я уже тогда удивлялся его поразительной бездуховностью в самом прямом смысле этого слова, его пренебрежительному отношению к Церкви, его кощунственному антиклерикализму. В те годы я и сам был неверующим, но я воспитывался в уважении к религии, к тому же один из самых любимых и почитаемых мною с детства людей — Анна Ахматова — была человеком верующим, православным.

Для Зощенки же религия — не более чем некий атрибут «ушедшего мира, мира роскоши и убожества, мира неслыханной несправедливости», мира, который он, дворянин по происхождению, усердно проклинал всю свою сознательную жизнь. И это — в полном соответствии с его политическими и научными

убеждениями. Религия Зощенко — наука, прогресс, его Бог — человеческий разум. Все это совершенно ясно и недвусмысленно выражено в печально известной книге «Перед восходом солнца». Я прочел ее уже в зрелом возрасте, и произвела она на меня весьма тягостное впечатление по нескольким причинам. Во-первых, мне неприятны были некоторые цинические откровенности касательно любовных приключений автора, семейной жизни его родителей и т. п. (Разумеется, век XX дал нам в литературе и в тысячу раз худшие примеры, но от Зощенко этого как-то не ждешь.) Во-вторых, удручает наукообразие, дилетантские попытки свести воедино Фрейда с Павловым. В-третьих, все та же чудовищная бездуховность, примитивнейший материализм. И, наконец, претензия на некое всеобъемлющее открытие. Чего стоит такой, например, пассаж:

«Философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных



формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле: я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось».

И еще:

«...мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает “философию” фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимыя беды, что человеческое счастье — в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации».

С особенной гордостью и даже восторгом приводит автор предсмертное — чудовищное, в прямом смысле кощунственное — письмо к нему Горького. Этот «великий гуманист» буквально со смертного одра призывает Зощенко «осмеять страдание»:

«Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович. Высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру».

Тут, конечно, оба хороши — и ученик, и учитель. Мир стоит на пороге чудовищной войны, всюду работает Гулаг, существуют Колыма и Воркута, вот-вот задымят печи Освенцима и Треблинки — самое время смеяться над «страданием и страдальцами»...

Одни названия глав чего стоят: «Разум побеждает страдания», «Разум побеждает смерть»... (Увы! — дальнейшее течение событий с ужасающей наглядностью показало, в какой малой мере даже столь уникальный разум, как у Зощенко, способен побеждать страдания, а тем паче — смерть.)

Грустная по сути книга «Перед восходом солнца» кончается, так сказать, двумя радостными нотами.

Во-первых, автор, как ему кажется, исцелил себя от меланхолии, от психических недугов и неосознанных страхов.

«Я вышел победителем. Я стал иным после этой битвы. Мало сказать иным — возникла новая жизнь, совершенно непохожая на то, что было раньше.»

Во-вторых, близится и иная победа — Советского Союза над германским рейхом, Сталина над Гитлером.

«Последние строчки этой книги я дописываю 8 октября 1943 года. Я сижу за столом в своем номере на десятом этаже гостиницы “Москва”.

Только что по радио сообщили о разгроме немецких войск на Днепре. Наши доблестный войска форсировали Днепр. И вот теперь гонят противника дальше. Итак, черная армия, армия фашизма, армия мрака и реакции пятится назад.

Какие счастливые и радостные слова!»

Это звучит почти как гимн Светлому Христову Воскресению, которым Гоголь завершает свои «Выбранные места из переписки с друзьями». По существу говоря, «Перед восходом солнца» — это и есть зощенковские «Выбранные места», книга, которой автор намерен облагодетельствовать непросвещенное наукой человечество.

Но сходство это простирается и далее. Я имею ввиду реакцию на обе книги. «Выбранные места» вызвали печально известное письмо Белинского. «Перед восходом солнца» — чудовищную статью в журнале «Большевик» (№ 2, 1944). Вот небольшая цитата оттуда:

«Вся повесть проникнута презрением автора к людям. Почти все, о ком пишет Зощенко, это пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. Как мог написать Зощенко эту галиматью, нужную лишь врагам нашей родины?»

И это был еще только первый гром, предвестник страшной грозы 1946 года, первый порыв ветра, предваряющий жуткий ураган, который принесет неисчислимы бедствия, унесет людские жизни. Говоря по существу, и жизнь самого Зощенки.

Письмо Белинского к Гоголю, статья из «Большевика» и доклад Жданова — произведения одного и того же жанра. Различия между этими текстами определяются лишь так называемым развитием общественной мысли. Раз-

ница тут как между «неистовым Виссарионом» и «неистовым Виссарионовичем», как между утопическим социализмом и «реальным», сталинским.

В 1946 году пророческие слова Гоголя реализовались самым неожиданным образом. Помните?

«...высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением...»

Имя Михаила Зощенко было начертано на одной «позорной» доске с именем Анны Ахматовой. Однако же разница между ними заключалась не только и не столько в том, что они работали в различных литературных жанрах.

Зощенко — великий русский писатель, и я не устану это повторять. Но это как бы объективная истина. А была и другая — субъективная. Зощенко был и, главное, сам себя признавал советским писателем, в самом примитивном горьковско-фадеевском смысле этого слова. Не «попутчиком», не — упаси Бог! — «внутренним эмигрантом», а именно советским писателем, «ин-

женером человеческих душ». Он был обласкан и даже возвеличен Горьким и сам себя совершенно серьезно причислил к «социалистическому реализму».

Мало того, Зощенко был не просто советский писатель. До войны, в сущности, до самого «исторического постановления», он был самый знаменитый и самый издаваемый советский писатель. С середины двадцатых годов его вещи нарасхват брали журналы и издательства. Уже в 1929 году началась публикация шеститомного собрания его сочинений. В том же году издательство «Academia» выпустило сборник статей, где о его творчестве писали блестящие критики и литературоведы. Можно смело утверждать, что за всю историю русской литературы ни у одного писателя не было такой всеобъемлющей славы, как у Зощенко. Не следует забывать, что процент грамотных к тридцатым годам достиг высокого числа, а тиражи журналов и книг измерялись сотнями тысяч экземпляров. Да к тому же рассказы Зощенко читались с эстра-

ды и по радио, и исполнителями их были самые первоклассные актеры — Л. Утесов, В. Хенкин, И. Ильинский... В 1939 году в Кремле М. И. Калинин вручил Зощенко орден Трудового Красного Знамени.

Можно добавить, что, будучи самым издаваемым советским писателем, Зощенко был, разумеется, и самым богатым. Мой отец вспоминал, как в тридцатых годах благополучные «инженеры человеческих душ» (в частности, он сам) начали покупать мебель красного дерева. В. Катаев тогда же покупал «карельскую березу», а Зощенко в Ленинграде — белую мебель из императорских дворцов.

Анна Ахматова почти сорок лет своей жизни прожила в буквальном смысле слова на грани нищеты. Ей то давали крошечную пенсию и продовольственные карточки, то лишали их. Она с полным основанием могла обратиться к Шереметьевскому дворцу с такими словами:

*Особенных претензий не имею  
Я к этому сиятельному дому,*

*Но так случилось, что почти всю жизнь  
Я прожила под знаменитой кровлей  
Фонтанного дворца... Я нищей  
В него вошла и нищей выхожу...*

Вот собственное свидетельство Ахматовой о том, как в советское время складывалась ее литературная судьба:

«...с 1925 года меня совершенно перестали печатать и планомерно и последовательно начали уничтожать в текущей прессе (Лелевич в “На посту”, Перцов в “Жизни искусства”, Степанов в “Ленинградской Правде”, и множество других). (Роль статьи К. Чуковского “Две России”.) Можно себе представить, какую жизнь я вела в это время. Так продолжалось до 1939 года, когда Сталин лично спросил обо мне на приеме по поводу награждения орденами писателей.

Были напечатаны горсточка моих стихов в журналах Ленинграда, и тогда издательство “Советский Писатель” получило приказание издать мои стихи. Так возник весьма просеян-



ный сборник “Из шести книг”, которому предстояло жить на свете примерно шесть недель.

<...>

Затем, как известно, я, уже бесчисленное количество раз уничтоженная, снова подверглась уничтожению в 1946 дружными усилиями людей (Сталин, Жданов, Сергиевский, Фадеев, Еголин <...> (Литературное обозрение, 1989, № 5, с. 6)

У Ахматовой никогда не было и быть не могло никаких политических иллюзий. Она никогда не была «советским писателем», она всегда была великим русским поэтом. Не случайно ее стихи вновь стали появляться в печати именно во время войны, когда на короткое время совпали интересы истинного патриотизма и «казенного».

Тридцатые годы дали ей и иной горчайший опыт. Она узнала, каково «трехсотую с передачей» стоять в очереди у жуткой ленинградской тюрьмы — у «Крестов». Ахматова прекрасно понимала, что происходит в стране вообще и в литературе в частности,

совершенно ясно сознавала она и собственное свое положение:

*Осквернили пречистое слово,  
Растоптали священный глагол,  
Чтоб с сиделками тридцать седьмого  
Мыла я окровавленный пол.*

Я много раз слышал и в свое время записал нижеследующий рассказ Анны Андреевны. В августе сорок шестого года она шла по ленинградской улице и вдруг увидела, что по другой стороне идет Зощенко. Заметив Ахматову, он перебежал через мостовую, буквально бросился к ней. Надо сказать, что прежние их — весьма далекие отношения — ничего подобного не предполагали. Он схватил Анну Андреевну за руку и стал сбивчиво говорить:

— Что же теперь делать? Как же теперь быть? Неужели терпеть? Неужели это — терпеть?

— Конечно, терпеть, — произнесла Ахматова, улыбаясь от своего неведения.

Тогда Зоценко стал горячо ее благодарить, говорил:

— Вы даже не представляете себе, как вы меня поддержали...

Он попрощался, и они расстались. Лишь несколько часов спустя Ахматова узнала о постановлении ЦК и тогда поняла причину странного поведения Зоценки.

Ахматова несла свою новую опалу как некий почти привычный крест. (Не забудем, ведь она была христианкой.) Существенно задела и оскорбила ее лишь формулировка «эротические стихи». Об этом неоднократно упоминается в опубликованных теперь ее дневниковых записях. Я вспоминаю, как она возмущалась своими тогдашними зоилами:

— Я могу им показать, что такое эротические стихи.

А что же должен был ощущать Зоценко, когда читал о себе: «злостный хулиган», «проповедник гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности», «мещанин»... Сталин лично назвал его ого «дураком, балаганным рассказчи-

ком, писакой»... (см. Известия, 20/V-1988). Это его-то, Михаила Михайловича, с его высоким понятием о своем мастерстве и призвании...

Помните Гоголя?

«...ему не убежать современного суда... который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданыя... придаст ему качества им же изображенных героев...»

Но — увы! для Зощенко это было не просто чудовищное оскорбление. Для него это была почти космическая катастрофа. Рухнул его стройный мир, мир, разделенный им надвое, — с одной стороны, со стороны прогресса были Сталин, Горький, он, Зощенко, и миллионы трудящихся масс, а с другой — реакционеры, враги, фашисты, капиталисты, помещики, банкиры...

И вот он пишет письмо Сталину, которое читать невозможно без горечи и стыда.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого от меня никто не отнимет...

Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. И я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать — так же трудно, как комическому актеру играть героические образы. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы...

Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.

Мих. Зощенко»  
(Юность, 1988, № 8, с.74)

Мне доподлинно известно, что несчастный Михаил Михайлович стал искренне искать причины произошедшего в себе самом, в частности в своем дворянском происхождении, которое могло помешать ему соответствовать современности в полной мере... Перефразируя подхалимскую мысль Маяковского, можно сказать, что он, бедняга, «себя под Сталиным чистил, чтобы плыть в Революцию дальше»...

Ах, как чудесно было в свое время нестись на «корабле современности» под громогласные агитки Маяковского, под бравурные марши Дунаевского, под рукоплескания и восторг либералов всех стран и континентов!.. И как же страшно, как обидно вдруг оказаться выброшенным за борт этого корабля!.. Отчаянно барахтаться и кричать, и вопить вслед:

— Это — ошибка! Это — страшная ошибка! Я же — наш!.. Я же — ваш!.. Ваш!.. Ваш!..

Зощенко еще относительно повезло. Его просто сбросили с корабля. А для скольких его коллег корабль этот вдруг обернулся беспощадной машиной, танком, давящим все на своем

пути... Исаак Бабель, Борис Пильняк, Михаил Кольцов...

Недавно мне попался документ пострашнее обращения Зошенко к Сталину. Это — письмо Мейерхольда, написанное им в тюрьме и адресованное Молотову.

«Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостатки (помните сказанное Вами мне однажды: “Все оригинальничаете!?”), а человек, который знает недостатки другого человека, знает его лучше того, кто любит его достоинствами. Скажите: можете Вы поверить тому, что я изменник Родины (враг народа), я — шпион, что я член правотроцкистской организации, что я контрреволюционер, что я в искусстве своем проводил (сознательно) враждебную работу, чтобы подрывать основы советского искусства?» (Театральная жизнь, 1989, № 5, с.2)

4 сентября 1946 года А. А. Ахматова и М. М. Зошенко были исключены из Союза писателей. Однако с голоду умереть им не дали. «По высочайшему», очевидно, повелению обоим разрешили заниматься литературными пе-

реводами. Около пятидесятого года в печати стали иногда появляться даже рассказы Михаила Михайловича, но это была лишь бледная тень настоящего, довоенного Зощенко.

Помните Гоголя?

«...отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта...»

В моем собственном архиве есть запись, которую я сделал летом 1958 года, посвящена она Зощенке. Вот небольшая цитата оттуда:

«Первый раз на моей памяти Михаил Михайлович пришел к нам домой, кажется, в 1954 году. Тогда литература несколько оживилась, и, сидя у нас за столом, он говорил, что хорошо бы издавать другой юмористический журнал, кроме “Крокодила”. Они с отцом долго обсуждали этот проект.

Мне тогда было семнадцать лет. Я молча сидел за столом, пожирая его глазами, ловя каждое его слово. Тогда он казался оправившимся после страшного сна».

Однако же пятьдесят четвертый год принес ему отнюдь не дальнейшее облегчение участи, а



то, что Ахматова наименовала «вторым туром». (Где-то, кажется, записана ее фраза: «Бедный Мишенька, он не выдержал второго тура».)

«Второй тур» начался с того, что в Ленинград прибыла английская студенческая делегация, и юные британцы выразили желание встретиться с Ахматовой и Зощенко. Вот рассказ об этом событии самой Анны Андреевны, запечатленный в дневнике Л. К. Чуковской. («Записки об Анне Ахматовой».)

«За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидят Саянов, так Зощенко, так Дымшиц, а так я. Еще переводчица, девка из ВОКСа — да, да, все честь-честью... Я сижу и гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они спрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? Долго ли это тянется? Чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов.

Потом они спросили: изменилась ли *теперь* литературная политика по сравнению с 46 годом? Отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно слышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили м-р Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом понял, что многое в этом документе справедливо... Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в черных очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению м-ме Ахматова? Мне предложили, ответить. Я встала и произнесла: “Оба документа — и речь т. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными”.

Молчание. По ряду прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погла-

дила против шерсти. Долгое молчание... Потом кто-то из русских сказал переводчице: “Спросите их, почему они хлопали Зошенко и не хлопали м-ме Ахматовой?” “Ее ответ нам не понравился — или как-то иначе: нам неприятен”.» (Запись 8 мая 1954 года, цит. по журн. Юность, 1988, № 8, с.79)

Несколько позднее в разговоре с Л. К. Чуковской Ахматова еще раз высказалась по этому поводу.

«— Михаил Михайлович — человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: “Сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился...” Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так.» (Там же.)

Абсолютная убежденность Ахматовой в своей правоте основывалась на том, что ее сын, Л. Н. Гумилев в это время находился в лагере. Она прекрасно сознавала, что каждое ее неосторожное слово может самым пагубным

образом отразиться на судьбе сына. Она, несомненно, ощущала себя участницей некоего спектакля, своего рода показательного процесса, а Саянова, Дымшица и даже «девку из ВОКСа» воспринимала как тюремщиков, как пособников палачей.

Зощенко должен был смотреть на все это по-иному. Саянов и Дымщиц — его товарищи, советские писатели. (Его только что вновь приняли в писательский союз!) Он не мог смотреть на них глазами Ахматовой еще и потому — о, как мне горько это писать! — потому, что он сам в свое время был пособником палачей и тюремщиков. Он — активнейший участник постыдной поездки советских писателей во главе с самим Горьким по Беломоро-Балтийскому каналу. Он от всей души поверил в эту смрадную пропагандистскую «тухту», он пропел хвалебный гимн Гулагу. И как же стыдно это теперь читать...

«Я на самом деле увидел перестройку сознания, гордость строителей и горячее желание жить иначе, чем прежде.»

«В те дни, когда я был на Беломорском канале, в одном из лагерей был устроен слет ударников этого строительства.

Это был самый удивительный митинг из всех, которые я когда-либо видел.

На эстраду выходили бывшие бандиты, воры, фармазоны и авантюристы и докладывали собранию о произведенных работах. <...> Это были речи о перестройке всей своей жизни и о желании жить и работать по-новому.»

Он восторгался главным образом «романтическими» уголовниками, теми, кого гулаговские идеологи наименовали «социально близкими»... Ну а что же пятьдесят восьмая статья? Мы ведь знаем, кто составлял подавляющее большинство «заклученных каналоармейцев». А о них что написано?

Ни-че-го. От них Зошенко просто отмахнулся.

«На строительстве Беломорского канала (в августе 1933 г.) меня заинтересовали не те люди, которые в силу случайности (или, как сказал один заключенный — в силу “мусорных обстоятельств”) стали правонарушителями.

Меня заинтересовали люди, которые сознательно строили свою жизнь на праздности, воровстве, обмане, грабеже и убийствах» (История одной жизни. Избранное в 2 т. Т. 1, с. 458, 237).

«Второй тур» шельмования Зощенко проходил по совершенно известному, давным-давно разработанному сценарию. Были разгромные публикации в печати, а потом состоялось собрание Ленинградской писательской организации, на которое для пущей важности прибыли московские начальники — К. Симонов и А. Первенцев.

Зощенко выступил там с поразительной речью. Это было, так сказать, его последнее слово. И не только в качестве подсудимого, но и вообще — самое последнее, после этого он, кажется, уже никогда не выступал публично.

Но — увы! — даже эту свою прощальную, отчаянную речь он, бедняга, начинает с того, что еще раз декларирует свою принадлежность к советской литературе, к клану советских литераторов.

«В моем заявлении с просьбой восстановить меня в союзе я писал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение в докладе — именно о том, что я не советский писатель, — не могу согласиться!»

Финал его речи потрясает душу. Это — один из самых трагических документов за всю историю русской литературы.

«Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган? Это требуете вы? Вы!.. Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик дол-

жен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось. У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую я имею» (Огонек, 1988, № 6. с. 10—11).

Помните Гоголя?

«... горько почувствует он свое одиночество...»

У Зощенки с Гоголем какая-то особенная связь, которую я бы назвал почти мистической. Гоголю, собственно говоря, его болезни и смерти посвящены многие страницы в «Возвращенной молодости» и в «Перед восходом солнца». Мало того, в последней повести Зощенко высказывает еще и такое неосуществленное намерение:



«О болезни Гоголя я сделаю более обстоятельное исследование».

Но как бы удивился Михаил Михайлович, если бы узнал тогда, что его самого ждет в точности такая же кончина, как и великого предшественника. Вот как Зоценко описывал смерть Гоголя. «Высокая основная цель, к которой стремился Гоголь — закончить “Мертвые души”, — давала ему силы. И когда Гоголь сжег “Мертвые души”, он тем самым уничтожил свою цель и этим уничтожил свою жизнь» («Возвращенная молодость»).

«Последние недели своей жизни, будучи психически больным, Гоголь ел чрезвычайно мало, а последние дни он вовсе отказался от еды.» (Там же.)

«Мы знаем, как проходили последние трагические дни Гоголя. Он отказался принимать пищу и морил себя голодом.

Последние же дни вовсе перестал есть, несмотря на уговоры и мольбы окружающих» («Перед восходом солнца»).

Вот опубликованный теперь отрывок из дневника писательницы Валерии Герасимовой.

«Едем в Сестрорецк к Вере, жене Зощенко. Дача — требующая незамедлительного ремонта. Серая, цвета осинового гнезда. Но на запущенной клумбе бледно-розовые розы: “Как бы Миша удивился — “что это ты тут развела!...” Дачка из клетушек. Обои, поблекшие, с веночками, железная кровать на мансарде, под грубым одеялом, солдатского типа. “Он все в окно поглядывал. Последнее время отсюда не сходил.” “Ел одно яйцо по утрам.” “Умер, потому что не хотел жить.”» (Юность, 1988, № 3, с.86)

Тут уместно привести еще две выписки. Одну — из знаменитейшей «Голубой книги», а другую — из письма вдовы писателя В. В. Зощенко, адресованного К. И. Чуковскому.

«...Бетховен — человек, который, может быть, больше, чем другие, доставил радость людям, — умер в нищете. Причем умер он не в какой-нибудь седой древности, когда государственственный строй как бы не нес ответственности в силу отсутствия высокой культуры и

неуважения к искусству. Бетховен умер всего лишь сто лет назад. И нищета его, несомненно, со всем позором ложится на политическое устройство.»

«К несчастью, не удалось ему ни одного месяца после 46 года вздохнуть, пожить спокойно — последнюю зиму его страшно мучил вопрос с пенсией, который разрешился лишь в самом конце июня. И вот, едва оправившись от первой весенней болезни, он, несмотря на мои просьбы поручить это дело сыну, поехал в Ленинград за получением пенсионной книжки и пенсии, которую и получил первый и последний раз в жизни. Вернулся он в Сестрорецк смертельно больной...» (Там же.)

Уже цитированная здесь собственная моя запись 1958 года начинается с такой фразы:

«Только сейчас, когда смотришь на эту маленькую черную рамку газетного сообщения, по настоящему понимаешь, что это был великий писатель».

Вот как у меня описан последний визит Зоценки на Ордынку. «Второй раз в жизни я ви-

дел Михаила Михайловича за четыре месяца до его смерти. Я знал, что он придет к нам и ждал его. Еще раньше я попросил отца дать мне одну из его книг, чтобы он надписал ее лично мне.

Прохладным апрельским вечером я стоял у ворот нашего дома и ждал приезда Зощенко. Он бывал у нас и раньше, но во дворе шел ремонт, и было очень грязно. В это же время должна была возвратиться из гостей Анна Андреевна. Она приехала раньше, и я проводил ее до дверей. Потом вернулся к воротам и стал ждать дальше.

Ждал я долго, до тех пор, пока отец не вышел ко мне и сказал, что Михаил Михайлович уже пришел. Как я его тогда не заметил, я до сих пор понять не могу.

Меня тогда поразило то, как плохо стал Михаил Михайлович разговаривать. Слова у него выходили с трудом, как будто ему больно было их из себя выглаткивать. Общий разговор из-за этого очень затруднялся. Я весь превратился в слух. Помнится, он говорил о поэзии, точнее даже о сборнике "День поэзии". Он говорил, что почти

все, что ему понравилось в них, принадлежало старым поэтам Ахматовой, Пастернаку, Асееву...

Когда стали ужинать, я, до того сидевший в углу комнаты, придвинулся к столу и сел около него. Моя мать сказала ему, что я его большой поклонник и, как она выразилась, знаток.

Он впервые взглянул на меня с интересом и сказал, что, если бы знал об этом, сделал бы мне на книге более теплую надпись. За ужином он ничего не пил и не ел. »

Тут я прерываю свою старую запись, чтобы сделать некоторое дополнение. Мать впоследствии вспоминала, что между нею и Зощенкой состоялся такой краткий диалог.

— Миша, почему вы ничего не едите?

— Видите ли, Ниночка, какая странная история, мне все время кажется, что я отравлюсь.

Вообще же атмосфера вечера была самая непринужденная. Я помню и такую деталь. Михаил Михайлович в Москве остановился у своего старого друга литератора В. А. Лифшица, который жил неподалеку от Ленинградского шоссе. На Ордынку Зощенко поехал на так-

си. В те годы машины еще свободно ездили через Красную площадь, и шофер, который вез его, ухитрился врезаться в фонарный столб неподалеку от Кремля. Эта история всех позабавила, в ней нашли и некий политический оттенок. Зощенко едет в гости к Ахматовой и сбивает столб на Красной площади. Не провокация ли это?..

Возвращаюсь к своей записи.

«Когда Михаил Михайлович стал прощаться, я вызвался проводить его до метро. Он сначала отказывался, но когда мать поддержала просьбу, согласился.

Мы вышли в мокрую и холодную весеннюю ночь. Он спросил меня, правда ли, что я так им интересуюсь. Я ответил, что он мой любимый писатель, и если время позволит, я буду писать о его творчестве. Он спросил меня, знаю ли я его повести, на что я ответил, что знаю и люблю. Те двести пятьдесят метров, которые мы с ним прошли (далее он себя провожать не позволил), промелькнули мгновенно, а я все еще говорил ему, что думаю об его отдельных вещах, задавал

ему вопросы относительно непонятных мне мест. Он подробно и охотно отвечал мне.

Когда я ему сказал, что о нем надо писать томы и что критика должна воздать ему должное, он спросил меня, читал ли я недавно вышедшую статью Константина Федина о нем. Я не осмелился сказать, что нет.

На прощанье он обещал мне надписать книжку, которую вот-вот должны были выпустить, и сказал, что если я ее не достану, то он сам пришлет мне.

И теперь, через несколько дней после того, как я достал эту книжку, его не стало...»

Но вот память возвращает меня к другим, более ранним временам на Большой Ордынке. Летним, майским днем 1956 года у нас появился только что освободившийся из лагеря Л. Н. Гумилев. Я очень хорошо помню, как впервые увидел его. Будто некое фото, вспоминаются мне две фигуры, сидящие на диване в столовой, — Анна Андреевна и ее сын. Лица обоих сияют счастьем.

Ахматова поручила мне тогда опеку над Львом Николаевичем. В частности, его надо было

одеть, и мы купили для него костюм, плащ и башмаки в комиссионном магазине на Пятницкой улице. Мы тогда сблизились с ним, несмотря на разницу лет. Помнится, он говорил мне, что чувствует себя на 14 лет моложе — лагерные годы не в счет. Я смотрел на него восторженно, ловил каждое его слово. Он вообще один из самых блистательных собеседников, каких я знаю. Рассказывал он и о лагерях. Оба срока свои он называл соответственно — «моя первая Голгофа», «моя вторая Голгофа». Тогда же он прочитал мне коротенькое стихотворение, при этом уверял, что автор — не он. Стихи эти я запомнил с первого раза и на всю жизнь.

Вот они:

*Чтобы нас охранять, надо многих нанять,  
Это мало — чекистов, карателей,  
Стукачей, палачей, надзирателей...  
Чтобы нас охранять, надо многих нанять,  
И прежде всего — писателей.*

Егорьевск, июль 1989





---

## ПРОЧТЕНИЕ РОМАНА

Я решился наконец написать о самом большом разочаровании, которое постигло меня за всю мою, так сказать, читательскую жизнь. С самой ранней юности, даже с отрочества я был восторженным поклонником Михаила Булгакова. Его высоко ценил и очень любил мой покойный родитель и как великую драгоценность хранил два надписанных ему сборника юмористических рассказов М. А. и ту книжицу, где помещены были «Дьяволиада» и «Роковые яйца» — тоже с автографом. «Дьяволиаду» я всегда особенно выде-

лял за неподражательное ее кафкианство, ибо когда это писалось, Кафка еще миру был неизвестен...

Кроме того, я с отроческих лет знал, что у обожаемого мною писателя Булгакова есть еще и неопубликованный роман. Его я авансом почитал гениальным. Мнение это слегка подогрела Ахматова, которая, как известно, тоже любила Михаила Афанасьевича. Однажды она сказала мне:

— Как хорошо, что он успел окончить роман.

(Теперь-то я подозреваю, что ее отношение к этому сочинению не могло быть простым. Она была человеком вполне православным, и весьма сомнительно, чтобы еретические страницы о “Понтии Пилате” да плюс чертовщина могли приводить ее в восторг. Не тут ли кроется разгадка двух строк из стихотворения «Памяти Булгакова»?):

*И гостью страшную ты сам к себе впустил,  
И с ней наедине остался.*

Вообще же Анна Андреевна, дело прошлое, была человеком пристрастным и, если уж кого-то любила, старалась всячески возвышать и в собственных глазах, и, особенно, в общем мнении. Но не об Ахматовой здесь речь.)

Итак, я долгие годы жил с убеждением, что на свете есть удивительный, гениальный роман. Я даже точно знал, где лежат экземпляры этого романа — у Никитских ворот, в квартире вдовы Елены Сергеевны, в прошлом одной из известнейших московских прелестниц...

Но вот наступила осень шестьдесят шестого года, и журнал «Москва» опубликовал первую половину слегка поуродованного цензурой «Мастера и Маргариты», которую я, разумеется, пытался принять с восторгом. Мой пыл, правда, сразу же несколько охладил покойный Александр Георгиевич Габричевский. Он сказал, что это — плохо написано. Я по запальчивости спросил:

— А кто же пишет лучше?

А. Г. ответил просто и кратко:

— Гоголь.

Надо признаться, что при внимательном прочтении первая часть вещи меня тоже несколько разочаровала. И так хотелось тогда, чтобы во второй половине все повернулось бы каким-то необычайным образом, и роман-таки оказался бы гениальным...

Но — уввы!...

Оговорюсь сразу же. Всю ту богохульную часть вещи, где описывается Понтий Пилат и отвратительнейшим образом искажаются евангельские события, я с возмущением и негодованием отвергаю как нечто оскорбительное и унижающее божественное достоинство Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Впрочем, и на сей счет придется сделать кое-какие замечания. Герой наименован «мастером» по той причине, что он сочинил роман о Понтии Пилате. Опус «мастера» в трех отрывках включен в основной текст сочинения и в общей сложности составляет примерно четыре печатных листа. Не маловато ли как для

полноценного романа, так и для того, чтобы присвоить автору этих страниц собственное имя Мастер?

«Мастер», опровергая всех четырех евангелистов, выдвигает собственную версию последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа. При том утверждает категорически, что данная версия и есть истинная, о чем сообщает сатана (свидетель, известный именно своей правдивостью!):

«— ... я сам присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте...»

Да и сам «мастер», выслушав рассказ поэта Бездомного о разговоре с сатаной, «молитвенно сложил руки и прошептал:

— О, как я угадал! О, как я все угадал!»

Между тем еще полтора года лет назад полуграмотному Белинскому было известно, что главное достоинство романов и вообще художественных произведений состоит не в «угадывании», не в документальном воспроизведении действительности, а в том, что худож-

ник создает, выдумывает некий собственный, небывалый мир и, по удачному выражению Ю. Олеси, — «действует в нем реально». Так что и с этой точки злополучный писатель нескольких десятков страниц о Понтии Пилате — невелик мастер.

И вот еще что. Претенциозную эту прозу наизусть знает сатана. Ее же с легкостью цитирует и демон по кличке Азazelло... Что же касается Иисуса Христа, то Ему это сочинение, как видно, неизвестно. Правда, к моменту развязки это положение переменилось.

« — Он прочитал сочинение мастера, — говорил Левий Матвей...»

И сатана повторяет:

« — Ваш роман прочитали...»

Он же:

« — ...Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой (Понтий Пилат)... прочел ваш роман...»

Следственно, то, что совершенно известно сатане, может быть до поры до времени неизвестным Богу... Это, так сказать, богословско-

демонологический уровень вещи. Но оставим на совести Михаила Афанасьевича его кощунственную «Понтиаду»: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». (I Иоанн, 2. 22).

Обратимся теперь, так сказать, к обрамляющему сюжету. Всему сочинению, или, кажется, лишь первой его части предпослан весьма многозначительный эпиграф:

*... так кто ж ты наконец?*

*— Я — часть той силы, кто вечно хочет  
зла и вечно совершает благо.*

*Гете. «Фауст»*

Посмотрим, какое, собственно, «благо» совершили в весенней Москве тридцатых годов внезапно появившиеся в ней сатана и его свита.

1. Толкнули под трамвай председателя правления МАССОЛИТА (читай: Союза писателей) М. А. Берилоза и отрезали ему голову.



2. Свели с ума поэта Бездомного.

3. Выкинули в одних подштанниках из Москвы на ялтинский мол похмельного директора театра Варьете Степу Лиходеева.

4. Засадил в тюрьму, а потом и в сумасшедший дом домоуправа Никанора Ивановича Босого.

5. Администратора Варьете Варенуху на двое суток превратили в вампира.

6. Устроили сеанс «черной магии» в Варьете.

7. Оторвали, а потом приладили на место голову конференсье Жоржа Бенгальского, в результате чего он попал в сумасшедший дом и потерял профессию.

8. Разбрасывали «магические червонцы», которые превращались то в иностранную валюту, то в простые бумажки.

9. Раздавали зрительницам заграничную одежду и обувь, отчего эти дамы оказались на улице в одном белье.

10. Публично разоблачили развратника Семплеярова — председателя акустической комиссии московских театров.

11. До смерти запугали и заставили убежать в Ленинград финдиректора варьете Римского.

12. На несколько часов превратили в «пишущий костюм» заведующего комиссией зрелищ и увеселений облегченного типа Прохора Петровича.

13. Всех сотрудников филиала этой комиссии заставили произвольно петь «Славное море, священный Байкал...»

14. Подвели под арест бухгалтера театра Варьете Василия Степановича.

15. Вызвали телеграммой из Киева дядю Берлиоза — Поплавского, ударили его жареной курицей по голове и отправили его обратно в Киев.

16. Прогнозировали заболевание и смерть буфетчику Варьете Сокову и расцарапали ему лысину.

17. Довели до нервного расстройства профессора медицины Кузьмина.

18. Украли мертвую голову из гроба Берлиоза.

19. Превратили в ведьму возлюбленную «мастера» Маргариту, и она по дороге на сатанинский бал разгромила квартиру критика Латунского в доме Драмлита.

20. В ведьму же превратилась и домработница Маргариты — Наташа, а их сосед — временно — в борова.

21. Лишили жизни известного осведомителя барона Майгеля.

22. Соединили любовников «мастера» и Маргариту — и вернули им квартиру.

23. Лишили этой квартиры безвестного доносчика Магарыча.

24. Устроили пожар в доме на Садовой, номер триста два бис.

25. Сожгли торгсин (магазин, торгующий на твердую валюту).

26. Сожгли «до гла» дом Грибоедова (т. е. дом Герцена — здание Союза писателей и ресторан при нем).

И все?.. Все, все, дорогой читатель...

Это и сам сатана, обращаясь к своим чертям, подтверждает:

« — распоряжений никаких не будет — вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь...»

Разумеется, приключения эти описываются с блеском, с талантом, с юмором, который так пленяет в «Дьяволиаде», в «Театральном романе» и даже в бесчеловечном «Собачьем сердце»... Но остается какой-то осадок, и неизбежно возникают вопросы... Во-первых, такое уж благо все эти проделки чертей?.. А во-вторых, стоило ли ради таких, в сущности, пустяков, как три пожара, два убийства, несколько арестов и госпитализаций, выводить на сцену самого сатану с целой бандой чертей?..

Тут приходится раскрыть некий секрет, составляющий, правда, невеликую тайну. Дело в том, что Михаил Афанасьевич Булгаков терпеть не мог большевиков, их порядков и их советской власти... И не видя — увы! — никаких реальных сил для борьбы с ними (а в «Белой гвардии», например, он давным-давно разочаровался), решил в своем романе напустить на них нечистую силу, для каковой цели

и вызвал ее из преисподней во главе с сатаной... Вызвать-то вызвал, но тут же насмерть перепугался... И не разудалых воображаемых своих чертей, а именно большевиков, которые за внятное изложение подобного сюжета могли в два счета стереть автора с лица земли вместе со всеми его сгораемыми и «несгораемыми» рукописями. Потому-то орудует эта нечистая сила не в Кремле и не на Лубянке, а в таких пустяковых заведениях, как Варьете или дом Грибоедова... Вместо того, чтобы мстить за террор, за раскулачивание и коллективизацию, за переполненные по тем временам лагеря и тюрьмы, вымышленные, литературные эти черти удовлетворяют вполне реальные и довольно-таки мелочные обиды «мастера» (то бишь самого автора)...

Прежде всего убивается председатель союза писателей — за то, что не был достаточно почитателен к «мастеру», не дал ему дачи в Перельгине (то бишь в Переделкине) и квартиры в доме Драмлита (Лаврушинский переулок, 17). Последнее же дело чертей, как помним, — по-

жар, сжигающий «до тла» весь союз писателей вместе с рестораном.

Лишен жизни осведомитель барон Майгель — этот вполне понятно, за что.

Сильнее всех прочих наказаны театральные администраторы и их непосредственные начальники — за то, что не ставили пьес «мастера».

Разгромлена квартира критика Латунского, который писал на сочинения «мастера» доносительные рецензии...

Сожжен торгсин (тогдашняя «Березка») со всем своим роскошным ассортиментом, недоступным — увы! — «мастеру» ввиду отсутствия твердой валюты.

Наказан домоуправ — «выжига и плут» — фигура гигантская в масштабах Москвы тридцатых годов, создававший «мастеру» множество житейских неудобств.

Не забыт даже буфетчик Соков, а в его лице и прочие торговые воры, кормившие «мастера» несвежей осетриной и брынзой...

А то, что все обстоит именно таким образом, подтверждает сцена прощания «мастера» с Москвою на Воробьевых горах.

«Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды... Группа всадников смотрела, как черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами... Мастер... стал жестикулировать еще беспоконнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу...

— Ну что же, — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счета оплачены? Прощание совершилось?

— Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело.»

Итак, как видим, отмщение и прощание совершилось, но куда же теперь отправятся «мастер» и Маргарита, т. е., собственно, уже их души?..

Про «мастера» сказано свыше:

« — Он не заслужил света, он заслужил покой».

Описанию этого самого покоя, этой вечной загробной жизни, которую, уж конечно, сам «мастер» себе пожелал, посвящена одна из последних страниц романа.

И здесь возникает некая ассоциация, которая никак не может прибавить нашему «мастеру» ни чести, ни славы. У М. А. Булгакова есть современник и отчасти литературный антитепод — В. П. Катаев. Этот, как известно, никогда оппозиционных поз не принимал, всю жизнь усердно служил властям, был, так сказать, одним из «лучших и талантливейших», разумеется, в свое время получил и дачу в Переделкине и квартиру в Лаврушинском переулке, вступил в партию, наименовался «героем социалистического труда»...

Однако же, на старости лет, сидя в своем «Перельгине», стал он вдруг завзятым модернистом и чуть ли не каждый год стряпает очередную порцию кокетливой мелкорубленной прозы.



В первой же из этих вещей — в «Святом колодце» (Новый мир, 1966, № 5) — Катаев живописует собственное свое существование «после смерти», которое, как зеркальное изображение, повторяет «покой» «мастера». Судите сами.

У Булгакова: «дом, который... дали в награду», «вишни, которые начинают зацветать», «ручей», «каменный мшистый мостик», «вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше», «свечи горят», «венецианское окно», «засаленный и вечный колпак», «старый слуга».

У Катаева: «пряничный домик в два этажа с высокой черепичной крышей и прелестным садиком, полным цветов», «постоянно цветущий конский каштан», «старый нормандский овин», в камине «тлеет громадное бревно», «потертая удобная куртка», «Дениза», которая несет «пти-дежене»...

Словом, выясняется, что и у того, кто всю жизнь прислуживал «революционному режиму», и у того, кто стоял пред ним «воплощен-

ной укоризною», за душою нету ничего, кроме  
мещанской мечты о буржуазном комфорте...

Михаил Афанасьевич, бедный, бедный, заму-  
ченный мастер, ваш роман прочитали...

*лето 1981*



---

## ЧИСТО ДВОРЯНСКОЕ ИСКУССТВО

### Аллюзии

*Быть может, для более тонкого человека тут будут видны и еще более тонкие причины, но это есть то, что вижу я и что мне нравится больше.*

*Дант. «Vita nuova»*

Анна Ахматова множество раз высказывала при мне свою мысль: «Не существует такого жанра — поэма. Каждая великая поэма являет

собой отдельный жанр. “Евгений Онегин”, “Медный всадник”, “Мороз Красный Нос”, даже “Двенадцать” — каждая из этих вещей единственная в своем роде».

С годами я пришел к убеждению, что мнение, которое Ахматова высказывала о поэмах, в той же мере распространяется и на романы. Я полагаю, «Мертвые души», «Война и мир», «Обломов», «Преступление и наказание» столь же уникальны и самодостаточны. Вывод мой тем паче закономерен, что в России граница между поэмами и романами несколько размыта, и притом с самого начала: Пушкин наименовал «Евгения Онегина» романом, а Гоголь «Мертвые души» — поэмой.

Бесспорно, у гениальных русских романов есть нечто объединяющее, но эта общность лежит не столько в области жанра, сколько в сфере социальной, точнее в сословной, все великие романы были написаны дворянами.

Александр Тихонов (Серебров) в своих воспоминаниях приводит критический отзыв

Чехова о Горьком. Антон Павлович, сын бакалейщика, великий писатель, не написавший ни одного романа, говорил: «Горький плохо знает архитектуру, не умеет он вещь строить... "Фома Гордеев" — да ведь это не роман, а оглобля! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково на "о"... Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мещанам, разнолюду — роман уже не под силу. Вот скворечники строить — на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, двенадцать окошечек и резное крылечко, а над крылечком надпись — трах!-тир!... Парфенон, а не скворечник! Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица... Сколь-

ко раз я говорил об этом Горькому — не слушает...»

Если взглянуть на историю русской литературы с избранной мною точки зрения, можно заметить некое досадное недоразумение. Дело в том, что Лев Толстой, написавший в свое время едва ли не лучший роман — «Войну и мир», привнес в область словесности величайший соблазн.

Писатели второго и третьего классов почему-то вообразили себе, будто «Война и мир» не просто превосходнейшее, непревзойденное произведение, но и образец для подражания. Дескать, существует некий отдельный жанр — «роман-эпопея». И вот на свет стали появляться такие вещи, как «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Доктор Живаго» и все прочее в этом роде.

А между тем сам Лев Толстой после «Войны и мира» написал отнюдь не следующую «эпопею», а опять-таки единственную в своем роде «Анну Каренину».

Все плохие романы похожи друг на друга, а все гениальные написаны по-своему.

Некоторое время назад литературоведы принялись всерьез обсуждать такую тему: мог ли столь памятный нам персонаж, любимец палаточек Михаил Шолохов самостоятельно написать такой роман, как «Тихий Дон»?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мне вовсе не требуются исторические и текстологические исследования. Я снимаю с полки том Гоголя, открываю «Записки сумасшедшего» и нахожу одно из моих любимейших мест: «Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые купчики, конторщики и даже крепостной народ пописывают иногда; но их писание большей частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога».

И далее совершенно замечательно: «...читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут». Замените здесь слово



«курские» на «тульские», и выйдет, что Поприщин прочел описание первого бала Наташи Ростовой.

Надобно заметить, что Чехову и Поприщину (то бишь Гоголю) вторит в этом пункте Иван Бунин. Его автобиографическая заметка начинается так: «Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды, и отцы мои, владевшие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым».

Но еще раз обратимся к Гоголю. Я убежден, что с его помощью многое можно осмыслить в нашей литературе, а подчас и в самой жизни.

Вот, например, известнейший отрывок из «Мертвых душ», который ныне может быть воспринят (достаточно добавить одно прилагательное) как древнейшее пророчество о столь недавнем событии — возвращении Александра Солженицына из Америки в Россию:

Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным: только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое “Красное колесо”! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился.

Может возникнуть такой вопрос: который из великих русских романов считать изначальным, первым в ряду?.. Тут возможны различ-

ные мнения. Пожалуй, одно бесспорно — сама по себе полновесная дворянская проза началась в России с Пушкина, с «Повестей Белкина», «Пиковой дамы», «Капитанской дочки».

Но зато с полной определенностью можно сказать, какой роман завершает великую дворянскую литературу. Это — «Дар» Владимира Набокова.

Очень жаль, что Борис Пастернак в свое время, по-видимому, не прочел «Дара». Ему бы поучиться, каким образом вставлять стихи в самую ткань прозаической вещи так, чтобы это действительно были «стихи из романа», а не довесок к нему.

Набоков-то, кстати сказать, роман Пастернака прочел и терпеть не мог этой вещи. В *Post scriptum* к русскому изданию «Лолиты» он называет Живаго «лирическим доктором с лубочно-мистическими поэмами, мещанскими оборотами речи и чарошницей из Чарской, который принес Советскому правительству столько добротной иностранной валюты».

Не так давно по телевидению показали швейцарское местечко Монтрё, где Набоков прожил последние годы своей жизни. Отель, в котором он квартировал, стал местной достопримечательностью. Но вот что особенно любопытно: почти все туристы не русской национальности, посещающие Монтрё, находятся в твердом убеждении, будто знаменитый русский писатель, который тут жил, был автором популярного романа под названием «Живаго». Такова ирония судьбы или, лучше сказать, отмщение.

В «Даре» Набоков так характеризует свое писательство: «архиживописный жанр». Однако же вся его наглядность, красота, пестрота производят впечатление чего-то застывшего, неживого. (Не «Живаго»!) По мне, всякая набоковская вещь смахивает на «выдвижной стеклянный ящик, полный распятых бабочек».

Мне представляется, его работа над каждой фразой была сродни описанному им «священнодействию»: «...препаратор набожно разма-

чивал сухие, лоснистые, тесно сложенные крылья, чтобы потом гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее в пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепить на дощечках как-то откровенно-беззащитно-изящно распахнутую красоту, да подложить под брюшко ватку, да выправить черные стяжки, — чтобы она так высохла навеки».

Давным-давно, по первом прочтении «Дара», мне пришло в голову написать пародию на Набокова. Это должно было быть подробнейшее и нагляднейшее описание гардероба его жены, Веры Евсеевны, начиная от меховых манто и кончая перчатками, лифчиками, чулками... А название такое — «В чем моя Вера».

«Дар» — роман дворянский и не только потому, что и автор, и главный герой — аристократы по рождению. Там наличествует скандальная четвертая глава, где биография Чернышевского изложена с издевкой, с иронией, с убий-

ственной жалостью к этому бедолаге, к этому нравственному уроду и графоману. Именно в «Даре» изящная, барская, дворянская литература сводит свои последние счета с тяжеловесной, хамской, разночинской критикой. Тут поименно названы бывшие «властители дум», все эти «двигатели новейшего прогресса», начиная с «симпатичного неуча Белинского» и кончая чудовищным монстром — Лениным с его немыслимым слогом.

«Русская проза, — восклицает при том Набоков, — какие преступления совершаются во имя твое!»

«Дар» — роман совершенно дворянский еще и потому, что одним из его героев можно назвать нашего первейшего поэта. Да-да, Пушкина, кто так носился со своей родословной, был дворянином до мозга костей и даже смерть себе избрал сообразно предрассудкам первенствующего сословия.

Роман буквально нашпигован Пушкиным и не только цитатами из него — прямыми и при-

кровенными. Отец героя громко декламирует «Пророка», сам герой увлеченно читает «Путешествие в Арзрум». На страницах «Дара» являются и пушкинские персонажи, например Петруша Гринев, который мастерит змея из географической карты, а в другом месте мелькнет его знаменитый «заячий тулупчик»...

Особенного упоминания заслуживает издевательски несуразный конец романа. Герой и героиня идут по ночному Берлину домой, чтобы после многомесячного воздержания наконец-то предаться радостям взаимной любви. Но при этом они оба не ведают, что ключей от вожденной квартиры нет ни у того, ни у другой...

И вот тут-то, в самом последнем абзаце, является не кто иной, как Евгений Онегин, стоящий на коленях, а вслед за ним и сам Пушкин, бросающий своего героя «в минуту злую для него», — Набоков отсылает читателя к парадоксальнейшему финалу великой поэмы: «Прощай же, книга! Для видений — отсрочки

смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синееет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка».

Человек, читающий со вниманием, заметит, что этот абзац — замаскированные под прозу стихи. Ну а читатель высокого класса поймет, что тут не просто стихи, а целая «онегинская строфа» с присущей ей системой рифмовки.

Набоков пишет о застрелившемся персонаже: «...а в комнате у Яши еще несколько часов держалась как ни в чем не бывало жизнь, бананная выползина на тарелке, “Кипарисовый ларец” и “Тяжелая лира” на стуле около кровати, пингпонговая лопатка на кушетке...»

Невиннейшее словечко «выползина», запрятанное в середину фразы, несет на себе крова-



вый ответ. Бартенев в свое время записал со слов Даля: «За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: “Эту выползину я теперь не скоро сброшу”».

Выползиной называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука ему надолго станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спорили с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны».

Автор «Дара» не только восхищается великим поэтом и смакует его фразы: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Набоков, подобно Хлестакову, «с Пушкиным на дружеской ноге». Чего стоят такие, например, пассажи: «Можно спорить о том, есть ли еще кровь в жилах нашего славного четырехстопника (которому Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву)».

Панибратство с Пушкиным заводит обоих довольно далеко. Набоков описывает, как в 1858 году избежавший смерти шестидесятилетний поэт сидит в театральной ложе: «Небольшого роста, в поношенном фраке, желтоватосмуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких взъерошенных волосах... толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями».

И смотрит этот воображаемый старик пьесу весьма характерную — «Отелло», т. е. историю о том, как ревнивый мавр (читай арап) убивает красавицу жену за мнимую связь с молодым офицером!

Приведу еще одну набоковскую фразу, относящуюся к самоубийце: «Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал “горчайшую” любовь к России — есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на кото-

ром едва уже различим след пушкинского локтя».

Набоков наверняка знал, что существуют два изображения, где Пушкин в обществе Онегина стоит на берегу Невы. Первое — собственный рисунок Александра Сергеевича из письма к брату Льву (ноябрь 1823 г.). Там поэт действительно облокотился на гранит. Но гораздо более популярно второе изображение — гравюра Гейтмана, на которой оба — и автор, и его герой — стоят к реке спиной. Она была опубликована в 1828 году и вызвала к жизни известнейшую эпиграмму, которую, по некоторым сведениям, сам Пушкин и сочинил. (И уж этой-то эпиграммы Набоков никак не мог не знать.) Так вот, там упоминается отнюдь не локоть гениального поэта:

*Вот перешед чрез мост Кокушкин,  
Опершись ж... о гранит,  
Сам Александр Сергееч Пушкин  
С мосье Онегиным стоит.*

Горячая поклонница Александра Пушкина — Анна Ахматова в свое время посвятила ему такие строки:

*Кто знает, что такое слава!  
Какой ценой купил он право,  
Возможность или благодать  
Над всем так мудро и лукаво  
Шутить, таинственно молчать  
И ногу ножкой называть!*

Ах, как хочется, слегка подправивши последнюю строку, переадресовать эти стихи Владимиру Набокову:

*Кто знает, что такое слава!  
Какой ценой купил он право,  
Возможность или благодать  
Над всем так мудро и лукаво  
Шутить, таинственно молчать  
И ж... локтем называть?*



# **ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ**



## КАЗНОКРАДОКРАТИЯ

В последнее время мне все чаще вспоминается известный исторический анекдот. В середине прошлого века Государь Николай Павлович сказал своему сыну и наследнику, будущему Императору Александру II:

— В России только мы с тобой не ворuem.

А еще у меня на памяти афоризм А. С. Суворина:

— Взятка есть русская конституция.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Вспомним и лаконичный ответ Николая Карамзина на вопрос о том, что делается в отечестве: «Воруют».



Как известно, Ахматова в свое время училась на юридических курсах. Когда речь при ней заходила о всеобщем воровстве, нас окружавшем, Анна Андреевна обыкновенно произносила такую фразу:

— На курсах нас учили, что у славян вообще ослабленное чувство собственности.

Как мы дошли до нынешнего, окончательно *ослабления* этого чувства, можно, пожалуй, проследить. Да, в николаевской России воровали и брали взятки — вспомним хотя бы «Ревизора» и «Мертвые души». Но в прошлом веке наша страна все же была христианской, и на значительную часть населения заповедь «не укради» имела решающее влияние. Вслед за Гоголем припомним Лескова, ведь его персонажи отнюдь не плод чистого воображения, а следовательно, были тогда на Руси и «инженеры-бессребреники», и «однодумы», и «несмертельные Голованы». Но — увы! — эти и подобные им герои были обречены, они, как тогда выражались, «стояли на пути прогресса»: в таких людях усматривалась та самая *Народность*, что

была сродни ненавистным для интеллигенции *Православию и Самодержавию...*

Люди здравомыслящие и патриотически настроенные прекрасно понимали, куда ветер дует и чем чревато для отечества распространение столь любезных образованному классу «освободительных идей». Мало того, Господь давал России истинных пророков, и они прямо предсказывали страшную судьбу, которая ждет народ и страну, если не будет всеобщего покаяния и возвращения к спасительной вере предков. Тут достаточно назвать Святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В этом списке не последнее место занимает имя Харьковского Архиепископа Амвросия (Ключарева). Он за три с лишним десятилетия предвидел и прямо предсказал национальную катастрофу, которая постигла Россию в страшном 1917 году: «Если... в древних, христианских обычаях нашего народа были воплощаемы вера, благочестие, духовный подвиг, воздержание, целомудрие, честность, по-

слушание властям, то в обычаях новых, вводимых так называемыми просвещенными людьми, очевидно воплощаются безверие, чувственность, бесстрашие по отношению к закону нравственному и совести и ничем неудержимое своеволие, соединяемое с порицанием и отрицанием властей. Можно не только уследить, но и определить, когда наступит час решительного нравственного разложения, а затем и падения нашего великого народа. Это будет, когда в народе число людей, отвлеченных ложным просвещением от христианских обычаев к новым языческим, перевесит и задавит число добрых христиан, остающихся им верными» («Слово на день восшествия на престол благочестивейшего Государя Императора Александра Александровича», 1885).

Падение Российской Империи было существенно ускорено мировой войной, которая за три года унесла многие тысячи человеческих жизней. И можно с уверенностью утверждать, что подавляющее большинство тех, кто пал тогда на фронтах, были добрыми подданными сво-

его Государя и верными чадами Православной Церкви. В результате баланс, о котором говорил в свое время преосвященный Амвросий, был нарушен и произошла предсказанная им катастрофа.

Наивные либералы до сих пор выражают удивление по тому поводу, что русский народ не удовлетворился «февралем», а в своей массе последовал за большевиками. Дело тут было вовсе не в беспомощности красная Керенского и не только в предельном цинизме Ленина. Причина лежит гораздо глубже, она заключена в самой коммунистической идее, имеющей в основании наиболее низменную из человеческих страстей. Я имею в виду зависть, которую вечно испытывает нищий лодырь и пьяница по отношению к своему зажиточному и трезвому трудяге соседу.

«Основоположник единственно верного учения» Карл Маркс в своем «Капитале» упомянул о том, что «экспроприаторы будут экспропрированы». Продолжатель его дела Ленин перевел это научное выражение на язык рус-

ского бунта — «бессмысленного и беспощадного», он провозгласил:

— Грабь награбленное!

Тут надобно заметить: о каких бы возвышенных материях ни рассуждали господа марксисты, как бы ни маскировали они людоедскую сущность своей теории, их адепты всегда слышат и воспринимают только призыв к грабежу. Тех же мыслей, что и я, был покойный М. А. Булгаков; его знаменитый Полиграф Полиграфыч Шариков так отзывается о переписке Энгельса с Каутским:

— ...пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

Итак, за либеральным февралем семнадцатого неизбежно последовал кровавый октябрь, после чего с легкой руки Ленина начался и развернулся повсеместный «грабеж награбленного». Но все же в России еще оставалось значительное число людей, приверженных к Церкви, для которых моральные требования Евангелия не были пустым звуком. Именно они оказали реальное сопротивление безбожным

палачам России и их — увы! — бесчисленным приспешникам. Но христиане к этому времени стали окончательным меньшинством, чем и был предопределен конец Гражданской войны. В результате сотни тысяч честных русских людей оказались вытесненными из пределов своего отечества.

В самые первые годы после революции большевики и подстрекаемая ими чернь расхитили все достояние старой России, так что и у самих властителей, и у определенной части населения появилось свое уже и вправду «награбленное». А затем историю нашей несчастной страны можно рассматривать с такой точки зрения: кто, когда, у кого и каким образом «грабил награбленное»?

Возьмем, например, такой решительный момент советской истории, как «раскулачивание деревни» и последующую «коллективизацию сельского хозяйства». Разве не «грабь награбленное» звучит в призыве, который выдвинули власти, — «ликвидировать кулачество как класс»?.. «Грабитель награбленное» государством

было по временам занятием весьма рискованным. При Сталине, например, люди шли на долгие годы в тюрьму за несколько колосков, за клоч сена или кружку молока от колхозной коровы. И все равно почти всем приходилось красть — иначе было не выжить: колосок — или смерть.

... Еще в 70-х годах я стал задаваться вопросом: отчего при всенародном тотальном воровстве, которое царит в этой стране десятилетиями, экономика, производство, да и самое советское государство еще как-то существуют? Ведь при таких масштабах воровства все давным-давно должно было бы оскудеть и развалиться. Вот тогда-то я и нашел вполне правдоподобное объяснение, каким образом функционирует то, что громко именовалось «экономикой развитого социализма».

В те годы людей, которые воровали бы ради приобретения дач, автомобилей и предметов роскоши, было сравнительно немного. Подавляющее большинство нашего населения крало ради того, чтобы выпить, и притом — немедлен-

но. Колхозник воровал мешок картошки, маляр — ведро краски, монтер — моток провода, для того чтобы сейчас же это продать, пойти в ближайший магазин и купить бутылку водки. И в тот самый момент, когда он отдавал продавцу или кассиру только что вырученную от продажи краденого пятерку или десятку, государство с лихвой возмещало нанесенный ему ущерб. А проще говоря, оно в свою очередь обкрадывало воришку, ибо себестоимость поллитровки не превышала одной копейки.

И это взаимное воровство было как-то сбалансировано, тут наличествовало некое не вполне устойчивое, но все же равновесие. Даже так: тут мне видится нечто вроде негласного общественного договора, который существовал между большевистским режимом и народом.

Повторяю, наблюдение мое относится к 70-м годам. Но Бог судил мне дожить до такого времени, когда догадка моя вполне подтвердилась. Это произошло во второй половине 80-х, когда Горбачев «со товарищи» решились на убийственную антиалкогольную кампанию.



Вот тогда-то простой советский ворюшка, «несун» был лишен возможности пойти в ближайший магазин, купить там бутылку водки и тем самым незамедлительно вернуть государству только что у него украденное. В результате баланс нарушился, советская экономика этого не выдержала и развалилась. А вслед за ней рухнула система и вся коммунистическая империя.

В недоброй памяти семнадцатом году большевиков поначалу никто всерьез не воспринимал. Но они появились как бы из небытия и в считанные месяцы овладели Россией. В начале 90-х годов коммунисты продемонстрировали еще один трюк в том же роде — исчезли с политической сцены столь же внезапно, как и появились. Но при том они не забыли прихватить с собой значительную часть «награбленного» — ставшие притчей во языцех «деньги партии».

Зато как бы бесхозными остались дома, особняки, дачи, больницы, санатории, охотничьи угодья, да и вся прочая «социалистическая собственность» — заводы, фабрики, земля. И на

все это немедленно набросились пришедшие к власти «демократы». (То бишь те же коммунисты второго и третьего разряда, которые вовремя сумели «перестроиться», а вернее — «перекраситься»).

И вот мы стали свидетелями такого «грабежа награбленного», какого не было с семнадцатого года. В силу исторических, психологических и иных причин у коммунистов в этом деле были несколько связаны руки. Они боялись друг друга, побаивались иметь дело с иностранной валютой, они страшились огласки, которая могла лишить теплого места. Пользуясь терминологией Ильфа и Петрова, можно утверждать, что коммунисты в массе своей были «застенчивыми воришками».

Не то — нынешние властители России, эти уже ничего не стесняются и ничего не боятся. Они запросто могут украсть деньги, вырученные от продажи имущества целого военного округа, или миллиарды, выделенные на восстановление Чечни. Могут среди бела дня выносить сотни тысяч долларов из Дома правитель-

ства... Что бы там ни писали газеты, что бы ни выкрикивали на митингах обманутые вкладчики, господин Мавроди преспокойно покупает голоса избирателей и проходит в Думу, становясь неуязвимым для карательных органов. Один мой знакомый по этому поводу пошутил:

— «Вор в законе» — это вор, находящийся под защитой закона о депутатской неприкосновенности.

И еще одна шутка на ту же тему. Он говорит, что наш режим никак невозможно именовать «демократией», поскольку голосами «демоса», то бишь народа, цинично манипулируют прожженные политиканы, стоящие не столько у кормила, сколько у «кормушки». А потому предлагается называть нынешнюю Россию «казнокрадократией».

Взяточничеством и воровством заражена несметная армия расплодившихся чиновников, все ветви власти и все ведомства, включая те самые, что предназначены для борьбы с подобными преступлениями. Зато нет недостатка в призывах «покончить с коррупцией». Только

кто же их всерьез воспринимает в стране, где в течение десятилетий планомерно уничтожали Церковь, а с нею вместе и мораль, являющуюся неотъемлемой частью религиозной веры?

Если в России и вправду когда-нибудь объявят войну коррупции, то прежде всего следует обратиться к опыту таких государств, где не было ни исторических катастроф, подобных той, что произошла у нас в 1917 году, ни кровавых экспериментов на манер большевистского. В западных странах мораль не многим выше, чем у нас, но там она исчезала постепенно, по мере того, как люди охладели к христианству. И общество последовательно вырабатывало механизмы, дабы защищать себя от многочисленных соблазнов, которые принесла с собою современная безнравственная цивилизация.

Известно, например, что в Англии государство применяет по отношению к чиновникам политику «кнута и пряника». Потенциальный взяточник не столько боится строгого наказания, сколько страшится потерять свое привилегированное положение. В частности, британс-

кие судьи получают за свою работу весьма и весьма высокое вознаграждение, и потому их практически невозможно подкупить.

Гипотетическому правителю России, который всерьез решил бы покончить с коррупцией, я дал бы такой совет: прогоните две три всех чиновников, а оставшимся утройте заработную плату. Убежден, у этой трети появится иное мироощущение, и они в конце концов перестанут коситься на карманы своих посетителей.

Но все это — мечты, розовые мечты. А в нашей серой, мрачноватой реальности господствуют «казнокрадокрааты». Занятые непрерывным «грабежом награбленного», во время последних выборов они чуть не лишились власти. И это несмотря на манипулирование общественным мнением, несмотря на миллиарды, потраченные на избирательную кампанию, несмотря на посулы и весомые подачки населению. А теперь многоумные политологи и социологи пространно рассуждают о причинах, по которым миллионы голосов были отданы оппозиции.

Мне же в этой связи вспоминается еще один исторический анекдот. 17 октября 1888 года царский поезд, следовавший по Курско-Харьковской железной дороге, сошел с рельсов. (При этом погибли 19 человек, а 14 были тяжело ранены.) Милостью Божией Августейшее Семейство не пострадало. Государь Александр III выбрался из развалившегося вагона, а затем убедился, что злого умысла нет — причиной катастрофы была всегдашняя российская нерадивость и склонность к хищениям. И Царь принялся оказывать помощь пострадавшим.

А вокруг слышались возгласы:

- Это — бомбисты!
- Какой ужас!
- Покушение на Царя!

Занятый растаскиванием обломков, Государь обронил:

- Красть надо меньше!

Именно такой совет я бы дал нашим «казнокрадократам», ежели они хотят и впредь оставаться «партией власти».

1997 г.



---

**РУССКИЙ  
РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕНЕССАНС  
И  
ПЕРЕДОВОЕ СОВЕТСКОЕ  
МОНАШЕСТВО  
(горестные заметки)**

Как-то раз спросили у японцев, которых в свое время просвещал Святитель Николай (Касаткин), отчего они избрали именно православную веру. Ответ был примерно таков:

— К нам приходили христиане разных конфессий и предлагали свое учение. Прежде всего пришли те, кто говорил: «Вот мы теперь верим в это и в то. Но в дальнейшем мы можем



к этому что-то прибавить». (Это были римские католики, которые время от времени изобретают новые догматы.) Затем приходили такие, кто нам говорил: «Мы теперь верим в это и в то, но впоследствии можем кое-что и отменить». (Это были протестанты, которые подвергают сомнению решительно все постулаты.) И наконец, к нам пришли христиане, которые заявили: «Вот наше учение. Мы сохраним его в течение долгих столетий. И тут ничего не прибавится и ничего не убавится — вовеки вечные». Это были православные, и такая вера пришлась нам по душе.

Но вот всплывает в памяти совсем иная история. Лет двадцать тому назад близкий мне человек, архиепископ Киприан (Зернов) случайно встретился с несколькими священнослужителями из старообрядцев.

— Они мне говорят: какие же вы теперь православные? — рассказывал Владыка Киприан, — Вы «Журнал Московской Патриархии» читаете? Разве это православный журнал?

— Ну и что вы им на это сказали? — спросил я его.

— Ничего я им не сказал, — печально отвечал архиерей, — что я мог на это сказать? Они же совершенно правы...

Что греха таить, в те годы «Журнал Московской Патриархии» производил впечатление жутчайшее. Самая пространная его часть посвящалась гадкой и крикливой «борьбе за мир» (т. е. за всемирное большевистское владычество), призывам к тому, чтобы все недруги СССР немедленно разоружились. Еще один крайне политизированный отдел журнала носил название «Экуменические контакты». Разумеется, и то, и другое было обильно сдобрено «богословием освобождения», лукавым учением о том, будто бы между коммунизмом и Христианством нет и не может быть противоречий. И от всего этого за версту несло Лубянкой и Старой площадью.

Собственно Православие было представлено в тогдашнем журнале лишь немногочислен-

ными выдержками из творений Святых Отцов и иллюстративным материалом — изображениями церквей и фотографическими портретами почивших деревенских батюшек (раздел «Вечная память»).

Самая выразительная и приметная фигура среди московских иерархов тех лет — Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов). Человек сильного ума и замечательных способностей, он составил целую эпоху в истории Патриархии.

Один из архиереев, который довольно близко знал Владыку Никодима, в свое время сказал мне:

— Злые языки о нем говорят: он начинал как строго православный, потом стал завзятым экуменистом, а кончил жизнь как ревностный католик...

От себя добавлю: мне приходилось говорить об этом с католиками. Они отзывались о смерти Митрополита Никодима с восторгом. Еще бы! О такой кончине любой из них мог бы толь-

ко мечтать — на аудиенции в Ватикане, чуть ли не на руках у самого Папы!

Существует письменный памятник католических пристрастий Митрополита Никодима — его докторская диссертация. Ее в свое время широко рекламировали в церковной печати, это была пространная работа о личности Папы Иоанна XXIII.

Помнится, меня и моих друзей возмутила и покорибила самая первая фраза этого сочинения. Православный иерарх ничтоже сумняшеся начертал:

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн».

(Смотри Евангелие от Иоанна, гл. I, ст. 6.)

Я и по сию пору затрудняюсь решить, чего тут больше — цинизма, кощунства, желания угодить Ватикану или графоманской претенциозности...

Православный...

Экуменист...

Католик...

Подобные метаморфозы за всю историю Русской Церкви претерпевал, пожалуй, лишь еще один архиерей. Я имею в виду личность не менее колоритную и знаменитую, нежели Митрополит Никодим, — архиепископа Феофана (Прокоповича).

Будучи рожден на Православной Украине, в Риме он перешел в католичество, к иезуитам, затем по возвращении в Киев опять стал православным, снискал у Петра I архиерейский сан, а под конец жизни стал покровителем и другом протестантов...

Вернемся, однако же, к той триаде, которую весьма условно можно назвать «духовным путем» Митрополита Никодима:

Православный.

Экуменист.

· Католик.

На эту своеобразную эволюцию можно взглянуть и с иной точки зрения — как на политическую карьеру. Не станем забывать, во времена советские Митрополит Ленинградский и Новгородский, да еще и председатель

«отдела внешних церковных сношений» Патриархии (т. е. церковный министр иностранных дел), — это номенклатура ЦК КПСС.

Припоминается популярный в те годы анекдот.

Вопрос в анкете:

«Были ли у вас колебания в проведении линии партии?»

Ответ:

«Колебался вместе с линией».

Эпицентр «колебаний» этой «линии», как известно, находился в Москве, в здании ЦК на Старой площади. Толчки прежде всего ощущались по соседству, на Лубянке, а потом уже доходили и до Чистого переулка, где и по сию пору стоит здание Московской патриархии.

Православный период (начало карьеры) будущего Митрополита Никодима совпадает с временем «холодной войны», когда сталинский «железный занавес» был почти непроницаем. Разумеется, в те годы никаких контактов с за-

падными христианами у Московской Патриархии не было и быть не могло, а посему рекомендовалось осуждать распространяющийся в протестантском мире экуменизм и всегдашние притязания Папы Римского на главенство в христианском мире.

Весьма показательным в этом отношении было созванное с разрешения властей летом 1948 года «Совещание глав и представителей автокефальных православных церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви». Если ознакомиться с двухтомником «Деяний» этой конференции, создается впечатление, будто можно в какой-то мере сочетать несочетаемое, т. е., пользуясь терминологией из «декларации» Митрополита Сергия (Страгородского), быть одновременно «верными гражданами Советского Союза» и «ревностными приверженцами православия, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматическими преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом.»

Но вот наступил незабываемый 1953-й — год, ознаменовавшийся смертью одного из величайших преступников за всю историю человечества. 9 марта, в день похорон тирана патриарх Московский Алексей I начал свою траурную речь такими словами:

— Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная; сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которую он руководил в своих созидательных трудах и предприятиях, которой он утешался в течение многих лет...

Как известно, с «упразднением» этой «нравственной силы» в мире много изменилось. Подтаяли «льды холодной войны», стал по временам приподниматься «железный занавес». И вот уже преемник Сталина — Хрущев провозгласил новую политику СССР, «мирное сосуществование с Западом».

Тогда-то идеологи со Старой площади решили поставить новые задачи перед обитателя-



ми Чистого переулка. О том, каким образом это происходило и к каким результатам привело, повествуется в любопытнейшем докладе священника Сергия Гордуна «Русская Православная Церковь при Святейших патриархах Сергии и Алексии». (Мы делаем выписки из № 158 «Вестника РХД».)

«Парадоксально, что параллельно с сужением внутренней деятельности Церкви в шестидесятые годы резко активизируется ее внешняя деятельность. Толчком для ее активизации послужила беседа председателя Совета по делам РПЦ В. А. Куроедова с патриархом Алексием, состоявшаяся 15 июня 1960 г.» Куроедов заявил, что им детально изучалась внешняя работа Патриархии, и он пришел к выводу, что она поставлена совершенно неудовлетворительно. «Патриархия за последние годы не провела ни одного крупного мероприятия по объединению Православных Церквей вокруг Русской Православной Церкви, возглавляемой Московской Патриархией, мероприятий, связанных с разоблаче-

нием реакционных действий Папы Римского и усилением борьбы за мир. Патриархия не использует всех тех огромных возможностей, которыми она располагает; не проведено ни одной крупной акции за рубежом. <...> Русская Православная Церковь не выступает объединяющим центром Православных Церквей мира, в большинстве случаев она занимает пассивную оборону и слабо разоблачает клеветническую пропаганду о положении религии и Церкви в нашей стране. <...> Совет рекомендовал митр. Николаю разработать и дать предложения об усилении внешней работы. Однако митр. Николай не выполнил эту просьбу Совета и представил предложения, которые ни в какой степени не отвечают тем требованиям, о которых шла речь с митрополитом по этому вопросу». Затем Куроедов предложил освободить митр. Николая от обязанностей председателя ОВЦС и возложить их на другое, более подходящее лицо.

<...> Патриарх предложил кандидатуру архимандрита Никодима (Ротова) в качестве преемника митр. Николая.

С личностью архим. Никодима (Ротова), впоследствии митрополита Ленинградского и Новгородского, связано изменение позиции Московской Патриархии по отношению к экуменическому движению. Как известно, Совещание глав и представителей автокефальных православных Церквей, состоявшееся в Москве в 1948 г., приняло резолюцию, в которой указывалось, что «целеустремления экуменического движения <...> не соответствуют идеалам христианства и задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь». <...> Такой позиции придерживалась Московская патриархия до 1960 г.

<...> В записи беседы патриарха Алексия с В. А. Куроедовым, состоявшейся 15 сентября 1960 г., имеется такая фраза: «Патриарх принял рекомендацию Совета о вхождении Русской Православной Церкви в члены Всемирного Совета Церквей и расценил это как крупную акцию со стороны Русской Православной Церкви в ее деятельности за рубежом».

Вот по каким причинам и при каких обстоятельствах вполне до той поры «православный» архимандрит Никодим сделался завзятым экуменистом и снискал себе архиерейский сан.

Нетрудно вообразить себе и дальнейший ход событий. После того как представители Московской Патриархии вошли во Всемирный Совет Церквей и в значительной степени подчинили эту организацию своему влиянию, со Старой площади поступило еще одно указание. На этот раз приказали найти общий язык с Ватиканом, чтобы «нейтрализовать реакционные действия Римского Папы». Тем паче для подобной «акции за рубежом» пришло время — должен был открыться Второй Ватиканский собор.

Вот тогда-то новый «председатель отдела внешних церковных сношений» обратил свое особенное внимание на личность Папы Иоанна XXIII.

Тут надлежит заметить, что «акция» по сближению с Римом оказалась довольно длитель-

ной, но зато весьма успешной. Собор в Ватикане признал, что Восточные Церкви «обладают истинными таинствами», а «священный синод» в Чистом переулке принял беспрецедентное в истории Православной Церкви решение о возможности для католиков приобщаться Святых Таин в наших храмах (1969).

Несколько лет назад, когда звезда последнего генсека КПСС Горбачева была в самом зените, в возобновленной Оптиной пустыни возникла и имела хождение замечательная шутка.

Вопрос:

— Какие слои общества наиболее вовлечены в «перестройку»?

Ответ:

— Рабочий класс, колхозное крестьянство, трудовая интеллигенция и передовое советское монашество.

Феномен «передового советского монашества» еще ждет своего исследователя, но можно с полным основанием утверждать, что своим

появлением в Русской Церкви этот тип иноков обязан именно Митрополиту Никодиму. Самыми характерными чертами «передовых советских монахов» и по сию пору является свободомыслие, широта взглядов, отсутствие «догматизма» и, главное, либеральное отношение к иноческим обетам, постам и прочим церковным «формальностям».

В свое время эти жизнелюбивые «чернецы» постригались и формировались по большей части в двух прямо подведомственных Митрополиту заведениях — Ленинградской Духовной Академии и в иностранном отделе Патриархии.

Либерализм в ленинградской духовной школе, например, простирался до того, что тамошние преподаватели — игумены и иеромонахи — под рясами носили джинсы, а в перерывах между лекциями, почти не таясь от учащихся, курили импортные сигареты.

Что же касается того отряда «передовых советских монахов», которые трудились в ино-

странном отдел Патриархии, то на определенном этапе именно из них стали выбирать будущих епископов, а самый этот отдел превратился в некую кузницу архиереев. В шестидесятые и семидесятые годы подавляющее большинство иерархов было в прямом (в церковном) и в переносном смысле ставленниками Митрополита Никодима.

Увы! — именно «передовое советское монашество» и по сию пору составляет значительнейшую часть епископата Русской Церкви, и это обстоятельство необходимо учитывать всем, кто имеет дело с Московской Патриархией.

«Отдел внешних церковных сношений», насчитывающий великое множество сотрудников, возглавляется в наши дни любимым и лучшим учеником Митрополита Никодима, самым молодым и бесспорно самым умным из членов «священного синода» Митрополитом Кириллом (Гундяевым). Это и теперь главнейшая цитадель «передового советского монашества», которое по-прежнему представляет Московс-

кую Патриархию на «международной арене». Мало того, эти люди то и дело выступают по российскому телевидению, их перьям принадлежат во множестве публикуемые в церковной и светской печати вкрадчивые «неосергианские» статьи, где проповедуется и экуменизм, и модернизм... Они не только оправдывают позорное прошлое Патриархии, но раболепство и угодничество перед безбожниками выдают за доблесть, возводят в некий еkkлезиологический догмат.

Я вовсе не хочу возвести хулу на весь Московский Патриархат, среди священнослужителей есть много (даже до удивления много, если учесть долгие годы гонений!), великое число искренних, благочестивых, вполне православных батюшек. Но ведь не они задают тон, их-то ведь никто кроме собственных прихожан не видит и не слышит, а «передовые советские монахи» на виду и на слуху у миллионов людей — и в России и за ее пределами.



Любой образованный человек, если он не чужд политики, отдает себе отчет в том, сколь грандиозным историческим событием было падение Российской Империи и возникновение на ее территории страшного большевистского СССР.

Но в мире христианском далеко не все осознают значение иной трагедии, того рокового обстоятельства, что самая многолюдная, самая обширная, самая стойкая в своем вероучении Российская Православная Церковь выродилась в беспомощную, беспринципную, раболепную Московскую Патриархию.

Большевики в свое время воздвигли на христиан такие чудовищные по жестокости и масштабам гонения, каких не знала ни античная, ни средневековая история. Но это лишь одна, внешняя, причина трагедии Русской Церкви, ибо преследования и гонения очищают христианство. Для того чтобы победа безбожников над той или иной Церковью могла осуществиться, необходима не только внешняя, но и внутренняя причина,

нечто такое, что расслабляет христиан, удаляет их от благодатной помощи Божией.

Историки более или менее единодушны, когда речь заходит о причинах ослабления, а затем и крушения Российской Империи. Понятно, что в этом более всего повинны образованные люди, так называемая интеллигенция; она всегда находилась в оппозиции к правительству, то бунтовала, то фрондировала, постоянно растлевала простой народ, словом, в течение целого столетия рубила тот самый сук, на котором сама же сидела и при том относительно благоденствовала.

Но вот попробуй кто-нибудь высказать мысль, что та же самая русская интеллигенция в той же самой мере, как в катастрофе государственной, повинна и в трагедии Русской Церкви. На дерзнувшему утверждать подобное обрушат свой гнев не только наши «западники» и «либералы», достанется даже от тех, кто мнит себя «славянофилами» и «почвенниками».

За последнее время в общественном сознании рухнули многие идолы, пало целое иллюзорное стадо, но по крайней мере одна из «священных коров» сохранилась. Имя ей — «русский религиозный ренессанс».

Совершенно очевидно, что, враждуя с Империей, сознательно разрушая ее, русская интеллигенция тем самым ослабляла и Православную Церковь, которая — нравится это кому-то или не нравится — состояла в теснейшем союзе с государством, а сам Государь именовался и был «Хранителем веры».

При том с Империей интеллигенция боролась в открытую, а с Церковью не только враждовала, но порой и заигрывала, пыталась перетянуть на свою сторону — а эта тактика куда как опаснее.

И вот уже в начале нашего века некоторые представители богемы всерьез вознамерились приспособить Христианство к собственным своим вкусам и потребностям, исподволь заменить Православие иным учением, соединить то, что

самой Библией объявляется несочетаемым, — любовь к Богу и любовь к миру.

Любимый ученик Господа Иисуса Евангелист Иоанн Богослов увещевает нас:

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего».

(I Ин. 2, 15—17)

Что как не гордость житейская звучит в словах одного из тогдашних интеллигентов — Д. В. Философова?

«Церковь требует отречения от любви к жизни и к людям, от любви к искусству, к знанию... а мы не хотим отречься от того, что хотим освятить.»

И как это ни прискорбно, подобные мысли и стремления были сочувственно встречены некоторой частью духовенства.

Тут я решаюсь прибегнуть к свидетельству человека, которого уж никак не обвинишь ни в обскурантизме, ни даже в церковности, да и вообще он был начисто лишен каких бы то ни было определенных убеждений. Зато свидетель этот известен своей искренностью и предельной откровенностью — Василий Васильевич Розанов.

В ноябре 1907 года на заседании Санкт-Петербургского религиозно-философского общества он прочел доклад под названием: «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира». Розанов живо и достоверно передает самую атмосферу, царившую на тогдашних встречах интеллигенции с духовенством:

«В нынешних “Религиозно-философских собраниях” поднимаются те же темы, которые волновали собою собрания 1902 — 1903 гг. Эти вопросы — о духе и плоти, “христианской общине” и общественности в широком смысле; об отношении Церкви и искусства; брака и девства; Евангелия и язычества и

проч. В блестящем докладе “Гоголь и отец Матвей” Д. С. Мережковский страстно поставил вопрос об отношении христианства к искусству, в частности об отношении, например, Православия к характеру гоголевского творчества. В противоположность отцу Матвею, известному духовнику Гоголя, он думает, что можно слушать и проповеди отца Матвея, и зачитываться “Ревизором” и “Мертвыми душами”, от души смеясь тамошним персонажам. Пафос Мережковского по крайней мере заключался в идее *совместимости* Евангелия со всем, что так любил человек в своей многотысячелетней культуре. Ему охотно поддакивали батюшки, даже архиерей и все светские богословы, согласно кивавшие, что, “конечно Евангелие согласимо со всем высоким и благородным; что оно *культурно*”: а посему культура и Церковь, иерархи и писатели могут “гармонично” сидеть за одним столом, вести приятные разговоры и пить один и тот же вкусный чай. Все было чрезвычайно приятно и в высшей степени успокоительно. <...>

Все, что говорили духовные лица на докладе Д. С. Мережковского, что, например, они “пошли бы в театр, если бы театр был *лучше*”, — уклончиво, словесно и вытекает из необходимости что-нибудь сказать, когда они явно не могут *ничего* сказать. <...>

Сколько я убедился, слушая здесь гг. духовных лиц, они не имеют вовсе, так сказать, метафизики христианства, не только верной, но никакой. Им христианство просто представляется добрым явлением. “Мы — добрые люди и не понимаем, чего вы от нас хотите” — вот смысл всех ответов на светские недоумения. Когда раздаются некоторые упреки, они говорят: “Мы люди скромные и сознаемся”, и улыбка довольства почти увеличивается на их лице. С этой позиции добродетели их невозможно сбить. “решительно мы исповедуем самую добродетельную веру и сами — самые добродетельные люди, добродетельные до скромности, до сознания своих грехов, до высшей деликатности, к какой способен человек.” »

Что-то слышится родное, не так ли, дорогой читатель?

Не то же ли самое твердят на бесчисленных теперь симпозиумах, презентациях и премьерных приглашаемых туда «передовые советские монахи»?

Как только представилась возможность, они пошли и на эстраду, и в кино, и в театр, хотя сей последний за прошедшие десятилетия отнюдь не стал *лучше*, но докатился до крайних степеней разложения, непристойности и прямой порнографии...

И еще одна выразительнейшая деталь. Архиерей, который «вел приятные разговоры», «поддакивал», «пил вкусный чай» вместе с Мережковским и Розановым, да и председательствовал на этих сборищах, был не кто иной, как епископ Ямбургский Сергей (Страгородский), будущий Митрополит и первый «сталинский» Патриарх.

И все же от «улыбчивых» и «добродетельных» батюшек, которых так наглядно изобра-



зил Розанов в своем докладе, до типичных представителей «передового советского монашества» — «дистанция огромного размера». Те были неразвиты и наивны, а нынешние, наши, развиты сверх всякой меры и довольно циничны.

Для того чтобы либеральные священнослужители начала века превратились в нынешних деятелей Московской Патриархии, потребовалось целых два периода в истории Русской Церкви, так сказать, два этапа эволюции.

И первым из этих этапов стало печально известное «обновленчество».

Я не стану углубляться в историю, а приведу здесь еще одно свидетельство очевидца. Это — видный канонист и историк Церкви епископ Григорий (Габбе). В одной из его последних работ «Русская Церковь перед лицом господствующего зла» читаем:

«Обновленцы вышли из кругов русской интеллигенции, проявлявших интерес к религиозным вопросам. Эти лица приближались к Цер-

кви, но не входили по-настоящему в ее жизнь и не воспринимали ее учения полностью. В Петербурге и в Москве, а частью и в других городах, они встречались в разных кружках, где, впрочем, наравне с ними выступали и лица с православными убеждениями, в том числе профессора Духовных Академий. Довольно долго в Петербурге председателем на заседаниях Религиозно-философского общества был епископ Ямбургский Сергей (Страгородский), впоследствии Патриарх. Видным участником общества был и будущий вождь обновленцев епископ Антонин (Грановский). Из будущих зарубежных деятелей назову Бердяева, Булгакова, Карташова, Мережковского, Франка. Кроме религиозно-философских обществ в Петербурге и в Москве был ряд разных кружков, члены которых если и интересовались религиозно-философскими вопросами, то с предубеждением относились ко всему ортодоксальному, как к чему-то скучному и устарелому. В некоторых случаях эти кружки так далеко уходили от Церкви, что приближались к некоторым формам сата-

низма. О московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева бывавший на его собраниях проф. Н. С. Арсеньев вспоминает: «Это была религиозность, но в значительной степени (хотя и не исключительно) вне-церковная, или, вернее, не-церковная, рядом с церковной, а главное, вливалась сюда порой струя “символического” оргиазма, буйно органистического, чувственно возбужденного (иногда даже сексуально-языческого) подхода к религии и религиозному опыту».

Однако же вполне понятно, что непосредственно от «обновленцев» никакие монахи, даже и «передовые, советские», произойти не могли. По той простой причине, что «митрополит» Введенский и иже с ним намеревались самое иночество «ликвидировать как класс», это был, в частности, церковный бунт «бельцов» против «чернецов».

Следующей стадией, уже окончательно предопределившей появление «передового советского монашества», стало «сергианство». Как из-

вестно, Митрополит Сергей повел верную ему паству по среднему, «третьему», пути — не по тому, по которому шли новомученики и исповедники российские, но и не совсем по такому, как шли отъявленные «обновленцы».

Мне когда-то рассказывали о некоем русском священнике, который долгие годы служил на православных приходах в Эстонии. Свою тамошнюю паству этот батюшка характеризовал весьма выразительно:

— Протестанты восточного обряда.

Нечто подобное можно высказать по отношению к идеологам Московской Патриархии:

— Сергианство — это обновленчество православного обряда.

Суждение это весьма основательное, в особенности если принять во внимание, что в середине сороковых годов в Московскую Патриархию были приняты за редчайшими исключениями все иерархи и клирики из проигравшей свою игру «живой церкви».

В голову приходит еще и такое соображение. Окончательная победа «сергианства» над «обновленчеством» была predetermined не только и не столько хваленой «мудростью» Митрополита Сергия. К этому привело то, что сами большевики именовали «диалектикой развития».

На первом этапе, когда сам кровавый режим был ультрареволюционен, ему вполне импонировал авангард в искусстве, а в религиозной области — именно «обновленцы» со своими «уклонами» и «загибами», с желанием «сбросить с корабля современности» и монашество, и единобрачие духовенства, и многие обряды, и архаический язык.

Однако же по мере того, как революционная тирания перерождалась в коммунистическую империю, менялся и антураж. На офицерах и генералах засверкали «старорежимные погоны», школьников и школьниц одели в гимназические мундиры и платья с фартуками, а сам обожествленный «генсек», в конце концов, наименовался «генералиссимусом» и облачился в расшитый золотом мундир...

Соответственно этому в литературе и искусстве стал господствовать «социалистический реализм» в самых традиционных жанрах. То же самое потребовалось и от разрешаемой Церкви. Религия, подобно искусству, должна была стать «национальной (т. е. православной) по форме и социалистической по содержанию».

С крикливым «авангардом» — как в культуре, так и в Церкви, было покончено.

Идентичность и синхронность явлений в искусстве и в жизни Московской Патриархии прослеживается и далее.

Вот настала хрущевская «оттепель».

В культуре выступили новые авангардисты — «шестидесятники».

И сейчас же «передовые советские монахи» из когорты Митрополита Никодима вводят в богослужение современный язык и прочие новшества.

Но «оттепель», как известно, продлилась недолго, начались годы «застоя».

И вот уже согласно очередной команде со Старой площади и культура, и религия снова стали «национальными по форме и социалистическими по содержанию».

А за сим горбачевская эра, «перестройка» явила нам в одном случае «постмодернизм», а в другом — «неообновленчество»...

Мне наверняка заметят: ведь не одним «передовым советским монашеством» был чреват «русский религиозный ренессанс».

Что верно, то верно, метаморфозы его куда как разнообразны — тут и респектабельное «парижское богословие», и гималайский демонизм а la Рерихи, и даже откровенная патология — я имею в виду беднягу Даниила Андреева с его чудовищной «Розой мира».

Но, обратите внимание, в каждом из этих случаев, даже в самом болезненном (в злосчастной «Розе мира»), неприменная претензия на вселенскость и даже едва ли не на православность.

Вернемся, однако же, к самым истокам. К тому времени, когда в ограду Православной Церкви вошло (или пыталось войти) значительное число интеллигентов — утонченных, образованных, одаренных. То, что они там обнаружили — пост, молитва, призывы к смирению, показалось им пресным, однообразным и скучным. И тогда, руководствуясь самыми добрыми намерениями, эти люди принялись Православие «улучшать», делать его более привлекательным с интеллектуальной стороны и более острым — с чувственной.

Дальнейшее более или менее известно.

Но с некоторых пор я стал задумываться еще вот над чем.

По какой причине интеллигенция ринулась в Церковь именно в те смутные годы? Неужто лишь потому, что с воцарением большевизма религия вдруг сделалась гонимой, явила себя неким запретным плодом?

Недоумения мои рассеял не кто иной, как знаменитый в начале века московский протоие-



рей, один из лучших в России проповедников, ныне прославленный в сонме новомучеников и исповедников, — отец Иоанн Восторгов. Большевики, которых он безбоязненно обличал, поспешили его расстрелять в первые же месяцы своей кровавой диктатуры.

Менее чем за год до своей мученической кончины — 26 ноября 1917 — Святой Иоанн говорил с амвона слова, которые воспринимаются так, будто обращены к нынешней России:

«Есть ли отрезвление? Все твердят, что есть. Утверждаем, однако, что его нет! Мы внимательно следим за всем, что пишут, печатают, говорят. И видим: есть пока чувство боли, есть досада, есть недовольство, есть брань и злоба, *но раскаяния нет*. Как? — спросите вы, — а разве не видите, как перестали в газетах бранить Церковь и ее служителей, как стали ходить в храмы те, кого прежде там не видели? Разве не видите, как ученые, профессора, общественные деятели вдруг заговорили о церковных вопросах, о религии?.. Да, когда поте-

ряли учебные заведения, учащуюся молодежь, печать, думы и земства, когда выгнаны отовсюду, когда выпустили из-под влияния улицу, рабочих, армию, то теперь идут стричь овец не своего стада, идут к кротким и доверчивым детям Церкви; но, увы, — идут учить Церковь, а не учиться от нее, и идут с теми же затасканными и опозорившимися лозунгами — выборами, большинством голосов, борьбой за права свои, за ограничение прав пастырей, за борьбу классов. Ничему не научились! Та же гордыня! И все это надолго ли? Пока не пройдет гроза, пока не отпустит рука, которая теперь схватила за горло, за карман... все отбирает и не дает дышать!

Нет, отрезвление будет тогда, когда все плохое поведение мы осудим бесповоротно, когда, подобно разбойнику благоразумному, скажем: “И мы убо терпим вправду, достойная по делом нашим восприемлева”...

Отрезвление наступит тогда, когда смирится гордыня, когда вместо самолюбования и сознания своей непогрешимости та же буржуа-

зия и та же демократия устами своих глашатаев скажут: мы виноваты, мы ошибались, мы произвели по своей надменности и эгоизму разрушение жизни. Отрезвление наступит тогда, когда к вере, к закону Божьему, к Церкви недавние кумиры и победоносные глашатаи общества, потрясавшие Россию всякими своими резолюциями и выступлениями, придут не как учителя, по-прежнему в горделивости своей ищущие наивных и благоговейно внимающих им учеников, а сами, как смиренные ученики, познавшие нищету своей превознесенной гордыни. Отрезвление наступит тогда, когда увидят, что всякий человеческий закон без закона Господня — ничто, что все эти прославленные реформы без духа Евангелия, веры, подвига и жажды вечного спасения отравлены себялюбием, жадностью, насилием и лицемерием. Отрезвление придет тогда, когда перестанут верить в силу только человеческой добродетели и познают всю правду слов одного из древнейших отцов Церкви, назвавшего языческие добродетели только

“блистательными пороками”. Отрезвление придет тогда, когда отбросят теперешнюю нравственность дикаря, по которой к добру применяются две мерки: оно — добро, когда мне выгодно, и оно есть не добро — когда мне не полезно...»



---

## ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Предлагаемые заметки не принадлежат к жанру проповеди. Их цель скорее ознакомительная, выражаясь церковным языком, катехизаторская. В современной России есть сотни монастырей, многие тысячи храмов, но подавляющее большинство людей, даже регулярно посещающих церкви, православного учения — в его полноте и чистоте — не знают, и доступ к нему вовсе не так прост.

Парадоксальное это положение сложилось в Российской Православной Церкви по двум наиглавнейшим причинам, одна из них — вне-

шняя, а другая — внутренняя. Первая причина известна всем. Это невиданное в истории гонение на Церковь, которое воздвигли большевики сразу же, как только захватили власть. Они, по существу, разгромили Церковь, а потом уже, в годы войны с Германией, на ее развалинах по приказу Сталина была учреждена покорная и безгласная Московская Патриархия. Ей было «всемилоостивейше» разрешено сохранить православное богослужение, а взамен этого предписывалось вместе с большевиками и их агентами «бороться за мир во всем мире», подтверждать любую коммунистическую ложь и внушать всему свету, будто в нашей стране вот-вот будет построен вожделенный «рай на земле». Все это, как мы понимаем, довольно далеко от святоотеческого учения. И хотя коммунизм уже сошел с политической арены, Патриархия по-прежнему остается покорным и безгласным придатком у власть имущих. Вторая, внутрицерковная, причина, по которой доступ к святоотеческому учению в наше время затруднен, кроется в том истори-

ческом явлении, что принято называть «русским религиозным Ренессансом». В начале этого века некоторое число интеллигентов, разочаровавшись в материализме и марксизме, вошли в ограду Православной Церкви. Но даже отказавшись от своих прежних взглядов, многие из этих людей не принесли должного покаяния и разума своего отнюдь не смирили. Православие предложило им то, что Церковь предлагает своим чадам на протяжении всей своей истории: смиряйтесь, молитесь, поститесь, помогайте ближним...

А что касается высоких откровений и экстаических состояний, то их, скорее всего, никто из вас не удостоится.

Для избалованного утонченной светской культурой интеллигента это весьма однообразно и скучно. И вот тогдашние неофиты, люди при том недюжинных способностей и талантов, с самыми лучшими намерениями стали, как им казалось, улучшать, усовершенствовать Православие, дабы сделать Церковь более привлекательной с интеллектуальной и чувственной то-



чек зрения. А поскольку это были люди весьма и весьма одаренные, их идеи имели (и до сей поры имеют) успех в родной им интеллигентской среде. И не только в России, но и за границей, куда по решению большевистских властей многие деятели «русского религиозного ренессанса» были в свое время высланы.

Как только у нас началась «перестройка» и была объявлена «гласность», в печати сейчас же замелькали имена Н. Бердяева, С. Франка, о. С. Булгакова, о. П. Флоренского и иже с ними. Литераторы, журналисты и некоторые церковные деятели принялись превозносить и пропагандировать сомнительное с православной точки зрения наследие всех этих людей.

Самым талантливым и известным популяризатором «русского религиозного ренессанса» был не кто иной, как покойный протоиерей Александр Мень.

По моему глубокому убеждению, всякий серьезный, вдумчивый человек, даже и неверующий, обязан знать святоотеческое вероучение в его чистоте, не поврежденное ни модернизмом, ни

экуменизмом, ни пресловутой «софиологией»... Без такого знания невозможно понять тысячелетнюю историю России, ибо в нашей стране Православие было когда-то стержнем жизни, основой философии, этики, морали, права, семейных и общественных отношений.

Увы! — удаление образованного российского общества от этой основы началось не сегодня и даже не вчера. Еще в начале прошлого века Преподобный Серафим Саровский говорил Н. А. Мотовилу: «...мы удалились от простора первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже неудобопостижимо то, о чем древние ясно разумели».

## О морали

Давным-давно, еще в двадцатых годах, Митрополиту Антонию (Храповицкому), Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, был задан вопрос:

— Правда ли, что большевистская власть — антихристова?

— Много чести, — отвечал Митрополит, — просто разбойники...

Маститый архиерей был, конечно, прав. Враги всякой мистики, неистовые богоборцы, убийцы и грабители — большевики не могут быть непосредственно отождествляемы с тем «льстецом» и «беззаконником», о котором говорит нам Священное Писание. Однако же и Ленин, и Сталин в качестве кумиров толпы и «спасителей человечества» бесспорно являлись своего рода предтечами самого антихриста.

Мало того, большевистская партия была не только преступной организацией, но и страшной, сатанинской пародией на Христианскую Церковь — со своими съездами-соборами, со сво-

ими казнимыми еретиками-отступниками, со своими «мучениками за веру», даже со своими лже-мощами на Красной Площади.

Насаждая свою чудовищную бездуховную религию, коммунисты видели в христианстве своего главного врага, а потому с невиданной жестокостью расправлялись с духовенством и монашеством, сносили храмы и монастыри, жгли иконы и книги... Но опыт показывает, что ломать, разрушать гораздо легче, чем созидать, а потому богоборцы не столько преуспели в насаждении своей веры в «светлые идеалы коммунизма», сколько в том, что лишили народ исторической памяти, разорвали все естественные связи — духовные, культурные, национальные...

В результате нынешняя Россия представляет собою некую пустыню, или даже не пустыню, а поле, где можно насаждать все что угодно — хоть западный протестантизм, хоть самые диковинные секты, хоть язычество и астрологию, хоть прямой сатанизм, а там, глядишь, и «всемирную религию» грядущего антихриста. Наглядными признаками того опустоше-

ния, которое большевики произвели в России, является неимоверный рост преступности, наркомании, проституции... Бьют тревогу криминалисты, педагоги, медики, и все сетуют на падение морали. Вот об этом я и хочу сказать несколько слов.

Мораль, существующая (или лучше сказать — разрушающаяся, исчезающая) в современном мире, — библейская, христианская. Она основана на десяти заповедях, данных Богом Моисею, и на учении Господа Иисуса Христа. Некоторое время тому назад знаменитый советский поэт Евгений Евтушенко провозгласил, что основой морали является культура. Утверждение это по меньшей мере наивно. Опровергается оно весьма просто: достаточно взглянуть на жизнь бесхитростных, «некультурных» крестьян и на нравы деятелей самой культуры. В особенности на так называемых «жрецов святого искусства» с их разводами, развратом, алкоголизмом, самоубийствами... Истинной основой морали может быть только религия. (Или в некоторых случаях

идеология, которая для каких-то людей религию совершенно заменяет. Все слышали, например, о «кристально честных коммунистах».)

В доказательство — самый простой пример. Как объяснить маленькому ребенку, что воровать нельзя?..

Он на это может возразить: а я возьму у богатого, который пропажи не заметит... Или я возьму у государства... Отчего это — плохо?

По существу говоря, на это можно возразить только так: воровать — грех, это запрещено Самим Богом. Бог знает все, и, если ты даже тщательно скроешь свой поступок, Он все равно накажет тебя.

Предвижу возражение: уместно ли запугивать детей карами Божиими? Неужели нужно, чтобы они росли в страхе?

На это отвечу: я нарочно довел проблему до самого примитивного уровня. На деле процесс воспитания ребенка в христианской семье гораздо сложнее. Ему прививают не столько страх перед Богом, сколько любовь к Нему и благоговение. В конце концов, страх истинно-

го христианина перед Богом — «страх Божий» — не столько боязнь наказания, сколько боязнь богооставленности, боязнь из-за греховности утратить живую связь со своим Творцом и Спасителем.

Но и в том примитивном варианте, с которого я начал, есть бесспорное преимущество перед нынешними, так сказать, безрелигиозными доводами о том, почему нельзя воровать. Ребенку говорят: это войдет у тебя в привычку, и ты попадешь в тюрьму.

А вот еще один пример. Как с точки зрения безрелигиозной морали ответить на такой вопрос: почему нельзя изменить жене, если ни она, ни муж той женщины, с которой изменяешь, ничего об этом не узнают? Отчего это — плохо?

Моим возможным оппонентам я предлагаю задуматься вот над чем: по какой причине в средневековье, в столь проклинаемое либералами время, при господстве христианской морали почти не было ни разводов, ни проституции, ни аборт, ни беременных девочек-школьниц, ни бесстыдно хвастливых гомосексуалис-

тов, ни прочих подобного рода обыденностей нашего «просвещенного времени»?

При этом христианство в свое время предложило миру мораль непревзойденную, совершеннейшую. Это всегда признавали даже более или менее добросовестные критики нашего учения. Евангелие запрещает нам (разумеется, речь идет об идеальных случаях) не только дурные поступки, но и злые мысли, и нечистые душевные движения.

Много лет тому назад, когда я впервые познакомился с книгой священника Александра Ельчанинова (он скончался в Париже в 1934 году), мне в особенности понравилась такая его мысль:

«Относительно религиозности Толстого и Руссо дело обстоит так. Религия дело сложное. Вино, например, состоит из воды, спирта, ароматических и красящих веществ и т. д. Так и религия — в ней есть спирт догматов, ароматические вещества культа и обрядов и нравственные правила — вода. Вот Толстой и Руссо одну эту воду и видели».



По моему глубокому убеждению, одна из главнейших причин трагического положения, в котором оказалось наше общество, да и весь современный мир, именно в том и заключается, что люди в подавляющем большинстве своем вполне уподобились Руссо и Толстому, по существу отвергли религию, а теперь тщатся хоть как-нибудь сохранить нравственность.

Если развивать удачную метафору о. А. Ельчанинова, можно сказать, что человечество пытается удержать в руках эту самую «воду» — нравственные правила, но жидкость есть жидкость, она льется, бежит между пальцами... Чтобы хранить ее, потребен подобающий сосуд, каковым во времена прошедшие была Христианская Церковь.

А теперь мы читаем в газетах, как нечто совершенно обыденное, мрачные прогнозы статистиков: в наступающем году столько-то сотен тысяч девочек-подростков сделаются беременными, столько-то миллионов матерей убьют своих детей во чреве, столько-то миллионов жителей планеты заразятся СПИДом...И не

надо быть пророком, чтобы со всей определенностью предсказать: с исчезновением в обществе последних остатков христианской морали эти миллионы будут приумножаться и притом в прогрессии геометрической.

## «Рожу себе ребенка»

Я иногда вспоминаю мое детство и отрочество — конец войны и самые первые послевоенные годы. Вспоминается безобразный пятиэтажный дом на Большой Ордынке, окруженный многими пристройками. И все это было разделено на комнатухи и битком набито полуголодными жильцами. Там были семьи без отцов — все взрослые мужчины перебиты на войне или они еще в армии...

В те далекие годы и представить себе было невозможно, чтобы какая-нибудь девушка или незамужняя женщина вдруг родила ребенка. Если и случался грех, то из боязни всеобщего осуждения часто шли на еще худшее с точки зрения христианства преступление — подпольный аборт. Надо сказать, что тогда убийство детей во чреве было законом запрещено, и те, кто этим занимался, зачастую попадали в тюрьму...

А еще в моей памяти всплывает 1968 год. Тогда я, постоянный житель столицы, впервые

приехал в маленький городок на Владимирской земле, на Клязьме.

Там были травяные улицы, палисадники, деревянные дома. Там с русским размахом «игрались свадьбы», после пиршественного стола гости непременно выходили на улицу, и перед домом начинались пляски с пением частушек.

Так вот в 1968 году, я это хорошо помню, подвыпившие мужчины позволяли себе выкрикивать частушки с матерными словами, а их партнерши женщины пели только пристойные четверостишия... Но — увы! — не прошло и двух-трех лет, в начале семидесятых на тех же самых травяных улицах, на таких же хмельных свадьбах женщины уже ничем не отличались от мужчин и всю горланили любую похабщину...

Так на моей памяти исчезали в народе остатки христианской морали. Нагляднее же всего это исчезновение проявляется в том, что почти перевелись нормальные, то есть многодетные, семьи. Я уже не говорю о том, с какой скоростью распадается большая часть регистриру-

емых теперь браков. Гораздо страшнее тенденция вовсе их не заключать.

У Козьмы Пруtkова есть забавный афоризм: «Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удастся, но всякой желается попасть в дамки». Так вот теперь этот афоризм устарел. Весьма многие женщины, в особенности в больших городах, где пресловутая «эмансипация» наиболее распространилась, вообще не желают обременять себя брачными узами. Они смолоду ведут т. н. свободный (читай: развратный) образ жизни, а годам к тридцати обзаводятся ребенком. У этих вольнолюбивых дам есть уже и специальный термин:

— Рожу себе ребенка.

На время оставим точку зрения церковную — Евангелие возбраняет нам не только «блуд» и «прелюбодеяние», но даже и нечистые душевные движения, даже нескромные, похотливые взгляды на лиц иного пола. Рассмотрим эту распространившуюся практику с точки зрения житейской. Что именно сулит будущее той, которая приняла решение:

— Рожу себе ребенка.

Во-первых, у того, кто появится на свет подобным образом, будет весьма сомнительная наследственность.

Я не представляю себе ни одного нормального, порядочного мужчину, который бы решился стать отцом ребенка, с тем чтобы никогда его не видеть и не принимать участия в его воспитании и судьбе.

Во-вторых, у ребенка, которого «родили себе», рано или поздно возникает конфликт с матерью. Он видит вокруг нормальные семьи, начинает расспросы о своем отце и отнюдь не удовлетворяется обыкновенными в этом случае уклончивыми ответами.

В-третьих, поскольку женщина рожает «себе», ребенок становится для нее игрушкой и одновременно кумиром. В результате неизбежно вырастает эгоист. К тому же эти матери, воспитывая, а лучше сказать, непрерывно балуя своих детей, относятся к ним как к неким банкам или инвестиционным фондам. Подразумевается вот что: теперь я вкладываю в него всю мою

любовь и заботливость, а в старости буду получать от него эти чувства в качестве процентов на вложенный душевный капитал. И вот уж этот наивный расчет никак не может оправдаться, поскольку, повторяю, ребенок растет эгоистом. Да и наследственность у него со стороны отца, как мы уже упоминали, весьма сомнительная. Так что можно с уверенностью предсказать: тех, кто «родил себе ребенка», вовсе не ждет беззаботная и безбедная старость.

Ну а теперь вернемся к точке зрения церковной.

Женщина, которая приняла решение — «рожу себе ребенка», должна давать себе отчет в том, что в этом случае она нарушает две Божественные заповеди — «Не прелюбы сотвори» и «Не сотвори себе кумира».

## Несколько слов о «нечистой силе»

Не так давно в наш храм вошли две женщины средних лет.

— Давай купим православный календарь, — сказала одна.

— А зачем? — отозвалась другая. — Я уже купила астрологический.

И они удалились.

Этот краткий диалог напомнил мне другую беседу.

Лет двадцать тому назад я возвращался из глухой владимирской деревушки, куда ездил навестить своего доброго знакомого. Это был глубокий старик, простой крестьянин, по-настоящему верующий — он когда-то пел на клиросе. Поездка моя состоялась зимою, и оттуда я ехал в розвальнях по заснеженному полю. Лошадью управлял младший сын старика. А поскольку мы с его отцом вели беседы религиозные, то и наш разговор в санях касался тех же вопросов. И вот мой возница — он возлежал в тулупе и в



валенках на охалке сена — как бы подытожил метафизическую тему такими словами:

— Ну, Бог — не Бог, а какая-то нечистая сила все же есть...

Кошунственная эта фраза как нельзя лучше формулирует кредо большинства наших соотечественников. Коммунисты десятилетиями внушали им, что Бога нет, что не существует никакой иной реальности кроме видимого мира. Но жизненный опыт всякого человека неизбежно вступал в противоречие с «научным атеизмом» (каждый из нас рано или поздно сталкивается с явлениями мистическими, сверхъестественными) и убеждался — «какая-то нечистая сила все же есть».

Именно эта абсолютная неопределенность религиозного сознания, присущая населению нашей несчастной страны, является главной причиной того, что мы наблюдаем теперь не столько возрождение Церкви и веры, сколько чудовищное распространение одиозных культов, магов, астрологов, шаманов, колдунов, прорицателей, целителей — «имя им легион».

Увы! — почти никто из наивных и непросвещенных постсоветских людей вообще не подозревает, что Церковь строго осуждает всех подобных «чудотворцев» и тех, кто прибегает к их услугам. И это с самых древнейших времен — мы читаем в Ветхом Завете:

«Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это» (Второзак.) 8: 10 — 12).

Сами расплодившиеся ныне «чудотворцы», как правило, об этом прекрасно знают, но скрывают от своих доверчивых клиентов. Как известно, по временам «сам сатана принимает вид Ангела Света» (2 Кор. 11, 14). И в прямом соответствии с этим нынешние служители тьмы зачастую прикрываются именем и авторитетом Церкви Христовой — развешивают у себя иконы, зажигают свечи... Я сам видел по телевидению, как толстушая тетка, которая делала предсказания и толковала сны, ничтоже сумняшеся объявила:

— Меня на это благословили две Церкви — Русская и Армянская.

Но самую большую опасность сейчас представляют вовсе не астрологи, предсказатели и гадалки, ибо к ним обращается далеко не каждый. Гораздо страшнее то, что теперь принято называть эвфемизмом «нетрадиционная медицина». Одичавшие наши соотечественники одержимы желанием обеспечить себе благоденствие и как только можно продлить земное существование, а посему стремятся любой ценой избавиться от своих болезней. И тут в ход идут все средства и способы — от популярных «телевизионных целителей» вплоть до темных деревенских бабушек. И при том все время слышишь:

— А что же тут плохого? Ведь целители делают добро — освобождают людей от страданий...

Но Церковь смотрит на это совсем иначе. В книге «Номоканон» в разделе «О волхвовании» читаем: «Волхвы убо суть, иже негли благотворные бесы призывают, еще и в благая некия вещи составления, скверноубийцы суть, и лестцы про-

иволением». (Все, кто и для блага призывают бесов, есть чародеи, убийцы и обманщики.) И далее — цитирую по-русски: «Те, которые ходят к чародеям и колдуют и гороскопы составляют, на шесть лет отлучаются от причастия Святых Христовых Тайн, а те, кто приводят целителя в свой дом, где есть больной или для другой цели, и чаруют, отлучаются от причастия на пять лет, так как все это совершается действием бесовской силы».

И тут следует сказать несколько слов о том, как истинные христиане должны относиться к своим недугам. Желание исцелиться для человека естественно, и Учитель Церкви Святой Василий Великий высказал такую мысль: «Господь недаром наделил минералы и растения целебными свойствами, и пользоваться всем этим человеку не возбраняется». Однако Святитель тут же предостерегает христиан от греха, который он именует «попечительство о плоти». Не следует забывать, что сама Церковь предлагает своим чадам собственные средства исцеления — исповедь и приобщение Святых Хрис-

товых Тайн — «во здравие души и тела», а в случаях тяжелой болезни — соборование.

Но при том, если христианин страдает от болезни, он должен относиться к этому со смирением и терпением. Подобное испытание часто посылалось даже и святым, как, например, Апостолу Тимофею. Много лет, до самой смерти, страдал от недуга и Преподобный Серафим Саровский, который прославился тем, что исцелил множество болящих...

А тем временем открывается дверь, и в нашем храме появляется миловидная девица. Она улыбается мне и произносит:

— Батюшка, а это правда, что Преподобный Серафим больше всего помогает тем, у кого знак зодиака — Дева?..

Господи, просвети Россию!

## **О «христианском театре» и «православном кино»**

Среди слов совершенно опошленных современными публицистами больше всех пострадало слово «духовность». К чему только ныне не прикладывают этого понятия, как только на нем не спекулируют... Появились даже такие абсурдные словосочетания, как «духовная оппозиция», «христианский театр» или «православное кино». О последних двух мне хочется высказаться несколько подробнее.

Каноны Православной Церкви и Святые Отцы с древнейших времен воспрещали христианам (в особенности клирикам) ходить на какие бы то ни было зрелища, даже на такие, казалось бы, невинные, как скачки — «конные ристалища».

Святой Иоанн Златоустый, кого Церковь именует Вселенским Учителем и Святителем, обращался к своим пасомым:

«Не только душою, но и очами твоими пусть управляет любовь к Богу. Пусть не двоятся твои

взоры между бесстыдными зрелищами и святой ревностью».

Нынешние — увы! — многочисленные апологеты сценического искусства, зачастую искренне почитающие себя христианами, утверждают, будто строгость, которую Церковь проявляла по отношению к театру, объясняется лишь тем, что тогдашние пьесы — сплошь языческие — были безнравственны по своему содержанию. Но это утверждение отнюдь не выдерживает критики, поскольку, например, трагедии Эсхила или Софокла подобными не являются.

Святые Отцы признавали аморальными не только зрелища как таковые, но самое занятие лицедейством. Карфагенский собор в своем 74 правиле, упоминая «игрательные упражнения», называет их «оними нечистотами» и говорит о возможном покаянии тех, кто этому предается.

С подлинно христианской точки зрения нет и, пожалуй, быть не может более пагубного занятия, чем актерство. Церковь призывает каждого из нас к постоянному самоочищению, к нессыпному контролю над своими мыслями и

душевными движениями, к воспитанию в себе того, что Апостол Петр имеет в виду, употребляя выражение «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 послание, 3, 4).

Между тем актерское ремесло в прямую противоположность этому заставляет артиста примерять чужие личины и, согласно «предлагаемым обстоятельствам», имитировать мысли и чувства выведенных в пьесе персонажей. А праздная толпа тем больше награждает лицедея аплодисментами, чем естественнее он это делает, чем тщательнее скрывает свое подлинное естество.

Ну а теперь несколько слов о кинематографе, по ленинскому мнению — «важнейшим» из искусств, которое я бы наименовал «безнравственнейшим». Театр зиждется на примитивном обмане, и некто Иванов, надевши парик и намазавши свою физиономию гримом, выходит на сцену изображает Гамлета или Юлия Цезаря.

Так вот кино — тройной обман. Во-первых, там происходит то же, что и на сцене, — Ива-



нов изображает Юлия Цезаря. Во-вторых, никакого Иванова в кинотеатре нет, быть может, он давным-давно умер. Эффект же присутствия достигается тем, что тень Иванова движется по белой простыне. И, наконец, обман состоит в том, что на экране нет даже и непрерывного движения. Видимость его объясняется дефектом человеческого зрения — мы таким образом воспринимаем пульсацию ленты в проекционном аппарате.

По части же душевредности кино многократно превосходит театр. На сцене практически невозможно изобразить и смаковать насилие и разврат с такими мельчайшими подробностями, как на экране, а именно из подобных сцен сплошь состоят почти все теперешние ленты. Мне возразят: театр и кино подчас преподносят зрителю геройство, самоотверженность и прочие высокие чувства... На это я отвечу: если по вышеприведенным причинам само по себе лицедейство аморально, то в случае, когда театр или кинематограф притворяются добродетельными, они впадают даже в некоторое ко-

щунство. Общеизвестно, что актеры за редкими исключениями довольно безнравственны, подвержены всем и всяческим порокам, и подобные люди порой принимают позу проповедников и учителей жизни... Это ли не горькая насмешка над здравым смыслом и самой добродетелью?

И тут я сошлюсь на авторитет одного из величайших российских праведников — Святого Иоанна Кронштадтского. Лет сто тому назад он писал в книге «Моя жизнь во Христе»:

«Театр — школа мира сего и князя мира сего — диавола; а он иногда преобразуется в ангела света, чтобы прельщать удобнее недалеконвидных, иногда ввернет, по-видимому, и нравственную пьеску, чтобы твердили, трубили про театр, что он пренравоучительная вещь, и стоит посещать его не меньше, а то, пожалуй, и больше церкви: потому-де, что в церкви одно и то же, а в театре разнообразие и пьес, и декораций, и костюмов, и действующих лиц».

## **А. С. Пушкин и христианство**

Учитель Церкви, священномученик Ириней Лионский оставил христианам на все времена великий святоотеческий завет:

«...не должно искать истины, которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, Апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питание жизни». (Против ересей, кн. 3, гл. 4)

С тех пор, как были начертаны эти слова, протекли долгие века, и мир, в свое время почти целиком покорившийся Христу, давным-давно стал снова удаляться от Спасителя. Процесс этот в особенности был явным на Западе, где великая схизма отделила Римскую Церковь от чистого святоотеческого исповедания, а последовавшие за нею Ренессанс, Реформация и Французская Энциклопедия вполне завершили отпадение западной цивилизации от правоверия.

Пожалуй, нигде это отпадение так наглядно не запечатлено, как в искусстве новейшего времени, и даже не в собственно светском, а именно в храмовом, культовом, изначально призванном свидетельствовать об Истине. Увы! — русская Православная Церковь из-за давней европеизации своих меценатов осталась отнюдь не чужда общему растлению, и по сию пору в городских храмах с правых клиросов доносятся «бесчинные» оперные вопли, а строгая традиционная иконопись почти повсеместно вытеснена жирной масляной мазней.

О чисто субъективных причинах этого печального состояния, пожалуй, лучше всех писал еще в прошлом веке Святитель Игнатий (Брянчанинов):

«...способность воображения находится в особенном развитии у людей страстных. Она действует в них соответственно своему настроению, и все священное изменяет в страстное. В этом могут убедить картины, на которых изображены священные лица и события знаменитыми, но страстными художниками. Эти худож-

ники усиливались вообразить и изобразить святость и добродетель во всех видах ее, но преисполненные и пропитанные грехом, они изображали грех, один грех. Утонченное сладострастие дышит из образа, в котором гениальный живописец хотел изобразить неизвестные ему целомудрие и божественную любовь.

Пророкам и Апостолам при желании выразить их состояние вдохновения дан вид языческих беснующихся жрецов или актеров кровавой трагедии. Произведениями таких художников восхищаются страстные зрители; но в людях, помазанных духом Евангелия, эти гениальные произведения, как запечатленные богохульством и скверною греха, рождают грусть и отвращение. Воображение у людей страстных, у людей порочных и развратных, не имеющих никакого сочувствия к святости, способно только к сочинению изображений ложных. Оно не может не обманывать этих людей. Оно и обманывает, и обольщает, скрывая обман, ясный для одних чистых по уму, сердцу и телу». (Прибавление к слову о смерти. Статья первая.)

По глубочайшему убеждению моему, замечание Святителя Игнатия касательно «утонченного сладострастия, дышащего из образа, в котором гениальный живописец хотел изобразить неизвестные ему целомудрие и божественную любовь», метит не куда-нибудь, а прямо в особенно прославившуюся во второй половине прошлого века «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. В подтверждение этого вывода я приведу хоть и косвенное, но чрезвычайно важное свидетельство одного из самых гениальных и утонченных сладострастников — А. С. Пушкина. В бытность свою женихом юной красавицы Н. Н. Гончаровой поэт написал нижеследующий поразительный сонет:

### *Мадонна*

*Не множеством картин старинных мастеров  
Украсить я всегда желал свою обитель,  
Чтоб суеверно им дивился посетитель,  
Внимая важному суждению знатоков.  
В простом углу моем, средь медленных трудов  
Одной картины я желал быть вечный зритель,*

*Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,  
Пречистая и наш Божественный Спаситель —  
Она с величием, Он с разумом в очах  
Взирали, кроткие, во славе и лучах,  
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.*

*Исполнились мои желания. Творец  
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,  
Чистейшей прелести чистейший образец<sup>1</sup>.*

Вот вам и плоды «высокого Ренессанса»! И в голову ему, кощуннику, не идет, как тут хулится Пресвятая Богородица!

И самый конец тем не менее великолепен:

---

<sup>1</sup> Исследователи утверждают, что здесь идет речь об известной картине кисти Пьетро Перуджино (Вануччи), который расписывал Сикстинскую капеллу и был учителем Рафаэля. Вот что сам Пушкин сообщает об этом холсте своей невесте: «Прекрасные дамы просят меня показать Ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на Вас, как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40000 рублей».

*«Чистейшей прелести чистейший образец!»*

Это звучит как невольное вырвавшийся богословский приговор всему светскому искусству в его попытках изображать духовное.

Пушкин — поэзия его и судьба — вообще непостижимая нравственная загадка. Вот, например, одесский период. Опальный поэт напропалую волочится за графиней Воронцовой, ест, пьет в доме обманываемого мужа, намеревается погостить еще и в крымском его имении и при всем том сочиняет на графа колкие и двусмысленные эпиграммы... А русское образованное общество полтора ста лет поэтом в подобной ситуации восхищается, ему же и сострадает, а Воронцова ругательски ругает...

Да что там образованное общество! Сколько христиан, да и каких христиан, даже святительским саном облеченных, Пушкина не только оправдывают, но и дифирамбы ему поют, едва ли акафисты не слагают...

Причину этого откровенно высказал один из главных христианских «апологетов» Пуш-



кина — Преосвященный Антоний (Храповицкий) в своем слове перед панихидой о Пушкине, произнесенном еще в 1899 году.

«Все литературные, философские и политические лагеря стараются привлечь к себе имя Пушкина. С какой настойчивостью представители различных учений стараются найти в его сочинениях или, по крайней мере, в частных письмах какую-нибудь хотя маленькую оговорку в их пользу. Им кажется, что их убеждения, научные или общественные, сделаются как бы правдивее и убедительнее, если Пушкин хотя бы косвенно и случайно подтвердил их.» (Архиепископ Антоний, Полн. собр. соч., СПб, 1911, т. 1, стр. 383.)

Владыка Антоний и прочие многочисленные «пушкинисты» из числа христиан с дотошностью выуживают из целого океана всяческого вольнодумства и фривольностей «маленькие оговорки» поэта, которые можно истолковать в пользу Церкви, и вполне при этом уподобляются крыловскому персонажу, посетителю кунсткамеры, не замечая таких «слонов», как приведенный

выше сонет, как «Рыцарь бедный» или чудовищно кощунственная поэма, даже и наименование которой я не смею здесь начертать.

И все, разумеется, в один голос превозносят «Отцов-пустынников». Стихи, спору нет, хороши. Но не следует им придавать особенного биографического значения, ведь Пушкин — искуснейший имитатор. Это его качество подметил еще Ф. М. Достоевский, когда в знаменитой своей речи говорил о поразительной способности поэта «перевоплощаться вполне... в древнего английского религиозного сектатора», а «рядом... религиозные же страницы из Корана... разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его...» Тому, кто так легко передает чувства «древнего сектатора» и «мусульманина», ничего не стоит вообразить себя и сирийским «отцом-пустынником» XIV века.

Поделюсь теперь и неким собственным своим наблюдением. Речь пойдет о стихотворении «Бесы» («Мчатся тучи, выются тучи...»). Там возница говорит седоку:

*Хоть убей, следа не видно;  
Сбились мы. Что делать нам!  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.  
Посмотри: вон, вон играет,  
Дует, плюет на меня;  
Вон — теперь в овраг толкает  
Одичалого коня...*

Как-то открывши томик Пушкина, я задумался: «А почему же, собственно “плюет”, а не “плюёт”? Это что — “маленькая оговорка”? Уступка стихотворному размеру?» Отнюдь нет. В чине православного Крещения, в последовании «во еже сотворити оглашеннаго» священник спрашивает крещаемого на церковнославянском языке:

— Отреклся ли еси сатаны?

Тот отвечает:

— Отрекохся.

Тогда священник говорит ему:

— Дуни и плюни на него.

Так вот церковнославянское «дует, плюет» у Пушкина — не что иное, как передразнивание слов требника, наглый бесовский ответ совершителю таинства.

Полагаю, если полистать пушкинские тома со специальной целью, можно было бы обрести не одну подобную «маленькую оговорку». Но для этих заметок, пожалуй, и без того достаточно.

Остается только сделать чрезмерно горячим поклонникам Пушкина (разумеется, из числа христиан) некое существенно напоминание. Святая Соборная и Апостольская Церковь — не просто «философский и политический лагерь», а «дверь жизни», «столп и утверждение истины», и по неложному обетованию «врата ада не одолеют ее». А посему и не нуждается этот столп, дабы подпирали его авторитетом человека, который при гениальнейшем даровании и уме почти всю жизнь прожил кощунником, развратником, дуэлянтом, картежником, чревоугодником и кого, по меткому августейшему выражению, «насилу заставили умереть как христианина».

## **Кто был первым демократом?**

Давным-давно, лет двадцать назад, я частенько задумывался над таким вопросом: отчего революционеры всех времен, эти мараты, робеспьеры, марксы и ленины так патологически ненавидят религию? Казалось бы, Христианство нигде прямо не противоречит идеям социальной справедливости — Евангелие осуждает богачей, призывает помогать бедным... Откуда же такое неистовое богоборчество?

Ответ на этот вопрос я в свое время нашел в одном из жизнеописаний Преподобного Серафима Саровского. Этот великий Старец запретил своим ученикам всякое общение с носителями «освободительных идей», «бытоулучшительной партией», а запрет свой он объяснил весьма кратко и убедительно:

— Первый революционер был сатана.

Эта мысль поразила меня своей глубиной и простотой.

Совершеннейший из ангелов взбунтовался против Бога, отчего и был низвергнут, лишен своего достоинства и стал тем, кто он есть. А потому и все последыши его, сколько бы их ни было в истории, несут в себе, так сказать, генетическую ненависть к Богу и к Церкви.

В самое последнее время меня заинтересовала иная проблема. Отчего в стане так называемых демократов не прекращаются громкие баталии?.. Ведь, казалось бы, у них общие ценности и цели — «свободы и права человека», «суверенитеты» и все такое прочее, а вот поди ж ты — согласия не более, чем у лебедя, рака и шуки из известной басни.

И тут я решился, насколько это возможно, последовать Преподобному Серафиму и, обратившись к учению церковному, определить, кто именно был первым «демократом». Ответ на этот вопрос содержится в самом начале Библии, в книге Бытия. Там недвусмысленно говорится, что изначальным «демократом» был все тот же персонаж — сатана. Принявши облик змея, он объяснил Еве, что

Бог — тиран, что Он лишает ее мужа некоторых «неотъемлемых прав» и что если они эти «права» осуществят, то станут «равны Богу». То есть сатана призвал прародителей к «свободе и равенству». В русском переводе Библии это излагается так:

«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».

Последствия этого разговора общеизвестны. Адам и Ева нарушили божественный запрет и были изгнаны из Рая.

Бог сказал Еве:

«...умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой».

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят: ибо прах ты, и в прах возвратишься».

Ну а что же сатана, первый «борец за права человека»? Каково ему наказание?

«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятах.»

Не это ли проклятие тяготеет над всеми парламентами?



## **«Вторая ложь» нашего времени**

Лет сто тому назад один из умнейших людей России, замечательный писатель и богослов Константин Петрович Победоносцев опубликовал свою знаменитую статью «Великая ложь нашего времени». Там он пишет:

«Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем увеличивается все явственнее перед целым миром».

Ах, как бы хотелось начертать эти слова где-нибудь при входе в Государственную Думу, чтобы из могли усвоить «народные избранники»...

Однако же оставим праздные мечты и вернемся к печальной реальности.

Увы! — за прошедшее столетие в «русские безумные головы» проникла с Запада еще одна — вторая — ложь.

Она заключается в том, что якобы идеи «народовластия», «демократических свобод», «прав меньшинств» заложены в Евангелии и принадлежат Христианству.

На самом же деле все эти идеи вовсе не христианские, а масонские, и окончательно сформулированы они были в британском парламенте и в конгрессе США.

Декларация независимости Соединенных Штатов гласит: «люди сотворены равными» и «одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами».

Удивительно тут то, что почти никому не приходит в голову самая простая мысль: если это «равенство» и «права» действительно «дар Создателя», отчего же Всемогущий Господь не творит всех людей действительно равными и свободными?

На самом деле Христианство предполагает лишь одну существенную свободу — право выбора между добром и злом, между праведностью и грехом, между Богом и сатаной. Священное Писание подчеркивает наше неравенство в этом мире. (Любопытствующих отсылаю к 12 главе 1 послания к Коринфянам.) А равны мы все только пред Самим Богом, в частности это будет на Страшном Суде, где предстанут «царие и нищие в равном достоинстве».

Священное Писание вообще не говорит нам о каких бы то ни было «правах», речь идет только об обязанностях — по отношению к Богу и к ближнему. И все призваны к послушанию — слуги господам, жены мужьям, дети родителям и все вместе — властям.

Вот весьма поучительный пример из Евангелия.

Величайший праведник — «большой из всех рожденных женами» — святой Иоанн Креститель становится, как бы выразились теперь, «узником совести». «Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филип-

па, брата своего; потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее». (Матф. 14:3—4)

А что же Господь Иисус Христос? Неужто он не поспешил на выручку Своему другу и сроднику?

Отнюдь нет. Он по-прежнему продолжает Свою проповедь... И наступает день рождения Ирода, пляшет девица, и преподносит своей развратной матери страшную награду — окровавленную голову Иоанна Крестителя...

И представим себе, как поступил бы в этом случае не Христос, а какой-нибудь современный, либеральный христианин, пламенный борец за права человека.

Без сомнения он собрал бы тысячную толпу и повел бы ее демонстрировать возле Иродова дворца — «Свободу Иоанну Крестителю!»

Ну а теперь несколько слов касательно «самоопределения малых наций» и «свободы национальных меньшинств». Как известно, древняя Палестина находилась под властью, говоря современным языком, «римских империалистов». Однако Спаситель не только не возгла-

вил «патриотическую борьбу народов за национальное освобождение», а напротив того — приказывал платить подати ненавистному кесарю, да еще благодетельствовал офицеров оккупационных войск — исцелил, например, слугу центуриона...

Впрочем, в Евангелии есть одно место, где идея «народовластия» находит весьма показательное воплощение. (Боюсь только, что самое упоминание об этом важнейшем эпизоде сильно покоробит многочисленных либералов, которые присвоили себе абсурдное с церковной точки зрения имя — «христианские демократы».) Я говорю о решающем моменте, когда разъяренная толпа по наущению первосвященников и старейшин требует от Понтия Пилата распять Господа. С точки зрения демократии это решение вполне законно и приемлемо: во-первых, наличествует «квалифицированное большинство голосов», а во-вторых, решение принимается на «альтернативной основе» — для позорной казни предлагается и иной кандидат — разбойник Варавва.

## **О смертной казни**

Двадцатый век — жесточайший во всю историю человечества — тем не менее принес победу так называемым «гуманистическим началам». В частности, это выражается в том, что во многих цивилизованных странах в наше время уничтожена смертная казнь за тяжкие преступления. А в прочих государствах теперь существуют объединения борцов за окончательную отмену этого наказания.

Для тех, кто утратил религиозную веру и отрицает «воскресение мертвых и жизнь будущего века» (а именно таковыми являются почти все образованные люди нашего времени), борьба против смертной казни — занятие совершенно естественное. Но — удивительное дело! — среди этих борцов мы видим множество таких деятелей, кто искренно почитает себя верующими христианами. Нам, в России, за примерами далеко ходить не надо — самым знаменитым и страстным противником этого

наказания был не кто-нибудь, а сам великий писатель Лев Толстой.

В 1909 году он опубликовал специальную статью под названием «Смертная казнь и христианство». Наиглавнейшая мысль там такая:

«Казалось бы, самый простой, естественный и неотразимый довод против смертной казни был бы довод религиозный, о том, что смертная казнь несовместима с тем христианством, которого исповедниками признают себя защитники казни».

Тут следует заметить, что Л. Н. Толстой в конце своей жизни был еретиком в самом точном, классическом смысле этого понятия. Что такое вообще ересь?

Слово это происхождения греческого, от глагола «ерео», который означает «захватываю» или «беру». То есть «еретик» — это тот, кто «берет» или «выбирает» нечто из Священного Писания в ущерб общему смыслу.

Именно таким образом поступают современные пацифисты и гуманисты, когда, основываясь на заповеди «не убий», вслед за Львом

Толстым они отрицают войну и смертную казнь. Эти люди не желают принимать во внимание, что данная шестая заповедь наряду с прочими девятью содержится во второй из книг Ветхого Завета — «Исход», глава двадцатая. А сразу же вслед за этим идут Божественные предписания карать смертной казнью различных преступников — убийц, гадалок, скотоложников и т. д. И далее Господь призывает Свой избранный народ к беспощадной истребительной войне против Амореяв, Хеттеев, Ферезеев...

И еще — если бы шестая заповедь имела тот смысл, что придают ей либеральные толкователи, она бы так и гласила: «не убий, не воюй, не казни».

Люди, подобные Льву Толстому, отвращаются от жестокостей, которые, по их мнению, содержатся в Ветхом Завете, и противопоставляют этому Евангелие и учение Господа о любви. Но опять-таки это — прием чисто еретический, ибо Сам Иисус Христос засвидетельствовал о Себе: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или



пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». (Мф. 4: 17.)

Чтобы окончательно ответить на вопрос «совместима ли смертная казнь с христианством?» — следует обратиться к самому трагическому эпизоду во всей евангельской истории — к распятию Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что страдание и сама смерть Его вполне добровольны — Всемогущий Господь идет на это по Собственной Воле. Его распинатели — legionеры, народ и начальники иудейские, издаваясь над Божественным Страдальцем, призывают Его избежать крестных мук: «других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий». (Лк. 23:35)

И далее повествование Святого Евангелиста Луки окончательно разрешает (во всяком случае для христиан) вопрос правомерности и допустимости смертной казни.

«Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осуж-

ден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». (23: 39—43)

Итак, Господь наш Иисус Христос, обладая Божественной Властью, и Сам не избежал Креста, и «благоразумного разбойника» не избавил от мучительной, однако же вполне заслуженной казни. Но зато раскаявшийся в своих деяниях и уверовавший в Него преступник первым из людей вошел в Небесные Обители.

## **О богатстве и бедности**

Некоторое время назад новые правители страны, которые пришли на смену коммунистам, объявили свой «подход к рынку». Но — увы! — по справедливому замечанию А. И. Солженицына для этого был выбран самый чудовищный путь. Тому свидетельством и необузданная «прихватизация», и скандальные истории с «обманутыми вкладчиками», и миллиарды, утекающие в иностранные банки, и рэкет, и заказные убийства, и то обстоятельство, что до сей поры так и не решен самый существенный в этом деле вопрос — о частной собственности на землю.

Отстраненные от власти коммунисты и некоторые их единомышленники теперь стремятся убедить людей, что во всех нынешних бедах и неурядицах виноваты не продажные и некомпетентные чиновники, а самый принцип частной собственности. И к сожалению, подобные мнения иногда подкрепляются ссылками на Евангелие и на учение Церкви.

Тут следует заметить, что за две тысячи лет нашей истории было предостаточно попыток свести Христианство до уровня социальной доктрины. В Римско-Католической Церкви по сию пору существует «богословие революции», представители которого утверждают, что у Христианства есть прямое родство с социализмом.

Однако же тот, кто из евангельского учения выводит идеи ненависти к богачам, а тем паче призывы к «раскулачиванию», принижает, опошляет христианскую проповедь. (Не забудем, что Сам Господь прямо отказался улаживать имущественные отношения — Лк. 12: 13—15.)

Мне возражат: но ведь Иисус Христос призывал раздавать имение нищим. Да, но Он призывал к этому лишь совершенных. Он так сказал богатому юноше: «если хочешь быть совершенным, пойди, продай твое имение и раздай нищим». (Мф. 19, 21.)

Совершенные ученики были у Господа во все времена начиная с апостольских. История Церкви знает множество имен таких людей, и среди них одним из самых известнейших яв-

ляется Иоанн Златоустый, святой IV века. После смерти своей матери он раздал имение нищим и в течение всей последующей жизни занимался благотворительностью церковной. В его многочисленных проповедях то и дело обличаются богачи — за скупость, за жестокосердие, за любовь к роскоши, за желание любым путем умножать свое имение... При всем том Святитель Иоанн был весьма далек от суждения имущественного неравенства по существу. В одном из своих поучений он называет этот порядок естественным и даже богоустановленным, затем высказывает мысль, которая звучит как некое мрачное предсказание, относящееся к проклятой «советской жизни». «В самом деле, уничтожь бедность, и ты уничтожишь весь порядок жизни и расстроишь жизнь нашу: тогда не будет ни корабельщика, ни кормчего, ни земледельца, ни домостроителя, ни ткача, ни сапожника, ни плотника, ни кузнеца, ни кожевника, ни хлебопекаря, и никого из подобных ремесленников, а без них у нас все расстроится. Теперь бедность служит для них

лучшей учительницей, как бы сидя при каждом из них, и даже против воли побуждая их к работе. А если бы все были богаты, то все бы стали жить в праздности, и тогда бы все расстроилось и погибло».

Здесь уместно добавить и вот еще что. Евангелие. Книга, содержащая «глаголы вечной жизни», отличается, в частности, и тем, что в ней по необходимости отражена психология человека, в полной мере известная Творцу и Сердцеведцу Богу. В этом отношении весьма замечательно одно место у Евангелиста Иоанна, где Господь Иисус Христос говорит о Себе как о пастыре добром.

«Я есмь Пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не радит об овцах».  
(10: 11 — 13)

В этих словах, произнесенных две тысячи лет тому назад, исчерпывающе говорится о том,

что истинно попечительным может быть только тот, кто чувствует себя хозяином имущества, кому «овцы свои». Наше общество и природа дорого заплатили за то, что на долгие десятилетия главной фигурой стал именно «наемник», не хозяин, а «хозяйственник».

## От перемены мест слагаемых сумма — меняется!

Страну то дело охватывает предвыборная лихорадка. Партии, блоки, объединения растут, как грибы после дождя, сливаются, как «струи Арагвы и Куры», размножаются, как амебы, простым делением... Все политики обещают народу избавление от нынешних бед и напастей, а державе — мощь и процветание.

Слова «Россия» и «отечество» повторяются без числа и на разные лады во множестве названий и воззваний.

Когда наблюдаешь за ухищрениями некоторых одиозных политиков, которые спекулируют на чувствах простых людей, так и просится на язык знаменитый афоризм С. Джонсона: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя».

Но мое особенное внимание привлекают патриоты подлинные, те, кто с негодованием отворачиваются от десятилетий позорного коммуни-



стического рабства и чувствуют себя наследниками подлинной России — страны Православной и монархической. Увы! — когда глядишь в эту сторону, прежде всего в глаза бросается разобщенность, тут нет ни единства, ни согласия. Не в этом ли неумении объединяться кроется одна из существенных причин, по которой патриотические движения не пользуются массовой поддержкой?

Есть и еще одна причина неуспеха нынешних российских патриотов и их пропаганды. Общеизвестно, что следование какой бы то ни было идее требует от человека определенной жертвенности, готовности отказаться от каких-то преимуществ, удобств и благ. Но — увы! — сограждане наши, которых в течение семи десятилетий цинично обманывали и растлевали коммунисты, в массе своей на сознательное самоограничение не способны. У подавляющего большинства бывших советских людей преобладает лишь одно стремление — жить не хуже, чем американцы или немцы, но при этом по привычке не особенно утруждать себя.

И, наконец, третья, на мой взгляд, самая существенная причина, которая мешает успеху нынешних наших патриотов; она коренится в самой их идеологии.

Мы помним, что министр народного просвещения и президент Императорской академии наук Сергей Семенович Уваров в 1833 году сформулировал свою знаменитую триаду — «православие, самодержавие, народность». И это вовсе не было мертвым догматом, именно эти три понятия воодушевляли победоносное российское воинство, в бой шли «за веру, Царя и отечество».

Так вот, беда в том, что нынешние патриоты ставят классическую триаду с ног на голову. Прежде всего проповедуется и культивируется почвенничество — любовь к русскому народу и его прошлому, затем, как некое историческое дополнение, — монархическая идея, и уж после всего — религия, святое Православие, то, что должно быть «во главе угла», «единым на потребу»...

Кто-нибудь может возразить: какая, в сущности, разница? Ведь от перемены мест слагае-

мых сумма не меняется. Но в данном случае это математическое правило неприменимо. Евангелие настаивает на четкой иерархии ценностей — превыше всего стремление к Царствию Божьему, а все земные блага (в том числе разумное государственное устройство и достойный уклад жизни) подаются Создателем лишь по мере приближения к религиозно-нравственному идеалу.

## Церковь — не наемная дружина

У Федора Михайловича Достоевского в «Дневнике писателя» за 1877 год содержится удивительно пророчество:

«...социализм есть грядущая сила для всей Западной Европы, и если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь вот наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник».

И ведь это написано за 14 лет до энциклики «Рерум новарум», в которой Лев XIII впервые заговорил о трудящихся массах и предложил им католические профсоюзы! А теперь мы то и дело видим, как симпатичный старый поляк, если и не босой, то в скромных светлых одеяниях

посещает беднейшие страны мира, падает ниц и целует землю, а чтобы взглянуть на него и принять от него благословение, повсюду собираются тысячи и тысячи «униженных и оскорбленных»...

Но вот чего уж никак не мог предвидеть Достоевский, так это грядущую страшную судьбу Российской Православной Церкви, к которой сам принадлежал. Он никак не мог бы предположить, что «бесы» (так он именовал нигилистов и революционеров) узурпируют власть в обожаемой им России, истребят духовенство и монашество, осквернят и разрушат храмы, а затем на развалинах Церкви учредят трусливую и покорную их воле «Московскую Патриархию».

Большевики при этом преследовали прежде всего цели практические. Им было крайне важно показать всему миру свою «веротерпимость», а также использовать иерархию и духовенство для политических махинаций, как внутри страны, так и, главным образом, вне ее. По этой самой причине Патриархия была принуждена «бо-

роться за мир во всем мире», громогласно осуждать американских «поджигателей войны», «неоколониалистов», «милитаристов», «агрессоров»... А также трубить на весь свет о том, что в униженной и залитой кровью России коммунисты близки к построению того самого мифического «рая на земле», который Достоевский остроумно именовал «муравейником»...

Как известно, большевики в нашей стране ушли в тень, перестали быть «направляющей силой общества». На смену им пришли так называемые «демократы». Московской Патриархии пришлось несколько обновить свой репертуар, но она, как и в прежние годы, подпеваает власть имущим:

«Мы считаем, что для ослабления межнациональной, межкультурной, социальной и гражданской напряженности необходимо, чтобы каждый член общества осознавал свой долг с любовью и уважением относиться к людям иных национальностей, социальных групп, культур, вероисповеданий и политических взглядов, помогать этим людям не меньше, чем сородичам,

единоверцам и единомышленникам, не допустить отвержения бедных и немощных, заботиться о справедливом устройении экономического порядка, активно противостоять любым проявлениям вражды и ненависти, разделяющей общество». («Воззвание межконфессиональной конференции “Христианская вера и человеческая надежда”», 1994 г. Москва, Свято-Даниловский монастырь.)

Следует заметить, что подлинному, евангельскому Христианству вовлеченность в политику совершенно чужда. В проповеди Господа Иисуса мы не найдем призывов к «ослаблению межнациональной, межкультурной, социальной и гражданской напряженности» между, например, иудеями и самарянами или даже местным населением и тогдашними «окупантами» Палестины — римлянами. Господь нисколько не заботился и о «справедливом устройении экономического порядка», Он прямо отказался решать имущественный спор и предостерег от пристрастия к земным благам (Лк. 12: 13). В Евангелии не

отыщется и намека на «борьбу за мир», хотя войны «во время оно», разумеется, велись. И все это по той совершенно известной причине, что Господь пришел на землю не ради «переустройства общества», а для «переустройства» душ человеческих, Он так и заявил прокуратору — «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18: 36).

Подлинным христианам во все времена была свойственна лишь одна «борьба» — борьба с грехом, борьба за праведность, за благочестие. И только в зависимости от результатов этих усилий Всемогущий Податель благ ниспосылает людям земное преуспеяние и времена мирные: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Исайя, 48: 22).

Христианам надлежит призывать людей не к «взаимным уступкам и компромиссам», а к покаянию, к осознанию своих грехов, к вере в Бога и соответствующей этому нравственной жизни. Нам следует бороться не с «социальной и политической напряженностью», а с повсеместным растлением малолетних, с чудовищ-



ным потоком порнографии, с распространением аборт...

В богатом наследии, которое оставил замечательный русский поэт и духовный писатель А. С. Хомяков, есть такая работа — «Сущность западного Христианства». Там, между прочим, высказывается суждение, которое необходимо усвоить всем тем, кто причисляет себя к Церкви Христовой:

«Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными тревожениями; стыдно становится за Церковь, до того низко упавшую, что она уже не совестится рекомендовать себя правительствам или народам, словно наемная дружина, выторговывающая себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет. Что богач требует себе обеспечений для своих устриц и трюфелей, что бедняку хотелось бы вместо черствого хлеба несколько лучшей пищи — все это естественно и даже, может быть, вполне справедливо в обоих случаях, особенно в последнем; но разрешение этого рода задач — дело разума, а не веры. Когда

Церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять напоказ большую или меньшую свою способность разрешать этого рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей».

## СОДЕРЖАНИЕ

### I

#### ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ

На пиру Мнемозины .....	11
Поэзия Анны Ахматовой.	
Два небольших секрета.....	71
Н. В. Гоголь: человеческая трагедия.....	79
Феномен Зощенко.....	105
Прочтение романа.....	153
Чисто дворянское искусство.....	171

### II

#### ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Казнокрадократия.....	191
Русский религиозный ренессанс и передовое советское монашество.....	207
Прописные истины.....	245
О морали.....	250
“Рожу себе ребенка”.....	258
Несколько слов о “нечистой силе”.....	263
О “христианском театре” и “православном кино”.....	269
А. С. Пушкин и христианство.....	274
Кто был первым демократом.....	284
“Вторая ложь” нашего времени.....	288

---

<i>О смертной казни.....</i>	<i>293</i>
<i>О богатстве и бедности.....</i>	<i>298</i>
<i>От перемены мест слагаемых сумма — меняется!.....</i>	<i>303</i>
<i>Церковь — не наемная дружина.....</i>	<i>307</i>

**МИХАИЛ АРДОВ**

**ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ.** Воспоминания, публицистика. — СПб.; ИНАПРЕСС, 1998 — 320с.  
ISBN 5-87135-063-1

Михаил Ардов в своей новой книге обращается к животрепещущим вопросам, волнующим любого человека, кому дорога русская культура. Это становление творческих и человеческих биографий великих писателей и поэтов и острые проблемы современной православной церкви. Под его пером возникают портреты современников и разворачиваются ситуации, коим он был свидетелем и соучастником. Читатель снова попадает на “Легендарную Ордынку”, в дом, где в послевоенные годы и до самой своей кончины жила Анна Ахматова, и где встречались другие выдающиеся личности.

Михаил Викторович Ардов (род. в 1938 г.) — окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио. Ныне — настоятель одного из московских храмов. Известный мемуарист и публицист, автор нескольких книг.

**МИХАИЛ АРДОВ**  
**ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ**  
*воспоминания*  
*публицистика*

*редактор Н. Кононов*  
*художник М. Покшишевская*  
*корректор Е. Владыкина*

Сдано в набор 20.06.98. Подписано к печати 31.07.98.  
Гарнитура Петербург. 10 усл.-печ. л. 14,3 печ. л.  
Тираж 4000 экз. Заказ 3749

Издательство ИНАПРЕСС. Санкт-Петербург, Невский пр.,74  
Лицензия ЛР № 062759 от 03.07.1998

Санкт-Петербургская типография "Наука" РАН  
199034, С-Петербург, 9-я линия, 12

